

Наталья
ВЕСЕЛОВА



КРИК
АЛЕКТОРА

Наталья Веселова

Крик Алектора

«Алетейя»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Веселова Н. А.

Крик Алектора / Н. А. Веселова — «Алетейя», 2019

ISBN 978-5-00165-032-4

Можно ли ее предотвратить? Вероятно, людям это не под силу, и нужно привлечь другие, более могущественные силы, но главное – не разорвать связь времен. Три юные вожатые, отправившиеся с детьми в поход утром 22 июня 1941 года, незадачливый бывший доктор начала XX века, невольно ставший отшельником в лесу, трое из XXI, получившие серьезные душевные травмы, но не утратившие веру, надежду и любовь... Всех их свяжет одно странное послание, над которым посмеялся бы всякий, – но не тот, кто хочет победить, прежде всего, свое прошлое. Петух прокричит – но отречения не будет... Роман написан в жанре психологического романа с элементами фэнтези и триллера.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-032-4

© Веселова Н. А., 2019
© Алетейя, 2019

Содержание

Часть I	6
1. Алектор	6
2. Адресаты	19
3. Адресант	41
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Наталья Александровна Веселова

Крик Алектора

Непрославленным новейшим мученикам XX и XXI вв. – с благодарностью – автор.

© Н. А. Веселова, 2019

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

Часть I

*И надо мной, как жернова Вселенной, слоистое, распластанное
небо вращало медленно густую черноту и перемалывало зерна света.*

И. Вазинская

1. Алектор

«Внимание! Внимание! Говорит руководитель гражданской обороны Санкт-Петербурга. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости помогите больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям гражданской обороны!». Один длинный и два коротких сигнала сирены последовали немедленно, равномерно сменяя друг друга. «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!».

Несколько секунд Вета лежала неподвижно, за последние невероятные недели привыкнув к многочисленным учебным тревогам в Питере и почти перестав вздрагивать при первом гавке ближайшего уличного матюгальника (из остальных в их тихом южном микрорайоне, утонувшем в идиллических соловьиных сквериках, доносились лишь непонятные отголоски, ничуть не страшнее, чем отдаленные звуки уличных гуляний, вроде народной Масленицы, на скромной площадке перед бывшим кинотеатром, а ныне закрытым магазином дорогих спортивных товаров). Она бегала с ребенком в подвал только в первый раз – от неожиданности, провела там полчаса и вместе с соседями убедилась в том, что никакой защиты – ни от чего! – это помещение по определению не может обеспечить: хлипкая пятиэтажка, стоящая в зоне поражения сразу нескольких ракет с ядерными боеголовками, нацеленных на разбросанные тут и там обреченные стратегические объекты, ближайшие из которых с одной стороны – Кировский завод, а с другой – аэропорт, эта бедная пятиэтажка не то что сложится хрестоматийным карточным домиком, а попросту превратится со всем содержимым в небольшую горстку праха, разметанную в кратере на глубине полукилометра под слоем «стекловидной массы толщиной 12–15 метров», как обещала упраздненная Всемирная Сеть...

Радио или телевизор теперь строго предписывалось держать включенными круглые сутки, чтобы не пропустить настоящую тревогу, – но как позволить себе такую пытку, когда твой нервный пятилетний внук даже в полной тишине засыпает не ранее, чем через час после дочитанной сказки про воронов Ут-Рёста¹ – и еще минимум минут сорок ты не можешь пошевелиться, сидя на краешке его тахты: твоя самая скромная попытка приподняться и на цыпочках покинуть место ежедневного мытарства немедленно прерывается протяжным: «Ну, Ба-аа... Ну, не уходи-и...». Кроме того, когда еще работал интернет, откуда Вета жадно вылавливала все возможные подробности «Часа Икс», она вместе с другими любознательными гражданами благополучно вбила себе в голову, что ядерный удар по Москве и Петербургу по ряду очень – слишком! – убедительных причин будет нанесен именно в шесть часов вечера. Уже одно это само по себе могло навести на мысль о том, что противник прекрасно осведомлен об их ожиданиях и, уж конечно, устроит так, чтобы нападение оказалось совершенно внезапным, – ракеты рванут на Невском, например, в два часа ночи. Вот как сейчас. Неужели они – где-то там, на недостижимом «верху» – всерьез полагают, что замотанные люди в который

¹ Норвежская сказка. (Здесь и далее – примечания автора).

раз кинутся в отсутствующие бомбоубежища и угаженные подвалы – измученные страшным ожиданием люди, едва-едва ненадолго уронившие на подушки свои исстрадавшиеся головы? А еще лучше – потащат куда-то в ночи инвалидов в колясках, грудных детей в одеялах, сиамских котов в переносках – надеясь, что в панике никто не заметит, как в убежище тайком проносят незаконного поглотителя драгоценного незараженного воздуха... Вета включала радио только в полночь – когда за последними аккордами гимна воцарялась живая, чуть потрескивавшая в ночи тишина, в шесть утра закипавшая все тою же торжественной, но уже давно никакого оптимизма не внушавшей мелодией...

Упомянутые несколько секунд Виолетта Алектор промаялась ощущением смутной неправильности происходящего – что-то не так было в привычном сообщении об очередной учебной тревоге. Чуть-чуть не так... Не по правилам... И ее подбросило на раз и навсегда бесцельно разложенном для двоих диване: слово «учебная» теперь заменилось на «воздушная». То есть, тревога оказывалась настоящей. То самое, во что никто по-настоящему не верил – «До этого никогда не дойдет!» – взяло и пришло. До апокалипсиса осталось максимум четырнадцать минут – смотря откуда взлетели ракеты, а до закрытия всех входов в метро – шесть. Нет, уже пять, пока она тут разлеживалась. А потом будут применять оружие. Без разбора пола и возраста – против тех, кто попытается воспрепятствовать герметизации дверей. «Молитесь, чтоб не случилось бегство ваше зимою»². Но сегодня это бедствие, по-видимому, считавшееся самым страшным, им с Ванечкой не грозило: вплотную подступало лето.

* * *

Нет, нет, грех жаловаться: что такое настоящее счастье, Виолетта, урожденная Попова, знала не из книг. Она и до сих пор, незаметно перейдя границу возраста «бабы-ягоды», считала свою первую любовь не детской блажью, из которой следует попросту вырасти, как из старого платья, а полноценным женским чувством, вполне разделенным и принесшим законный плод – сына Владислава. И теперь, тридцать лет спустя, она без насмешки или отвращения мысленно возвращалась в ту нелепую комнату, просто не имевшую права существовать в Петербурге на радужном пороге Миллениума. Комната, в которой жил со своей разведенной мамой одноклассник Миша Алектор («Ты что, немец или еврей, да, милый?» – «Да Бог с тобой, Веточка, «алектор» – это просто «петух» по-старославянски!»), будто перепрыгнула в панельную сероватую «брежневку» из самого начала Железного Века. Там стояли две замечательные доисторические кровати с прекрасными панцирными сетками, хромированными спинками со множеством начищенных до блеска шишечек, покрытые одинаковыми светлыми покрывалами, поверх которых постилались еще и кипенно-белые кружевные накидки. Каждую кровать венчали три разновеликие, в крахмальных белоснежных наволочках подушки, идеально взбитые и положенные одна на другую в строгом порядке, торжественной пирамидой – от большой к маленькой; для них полагались отдельные тонкие покрывала – из хлопчатобумажного шитья, и свисать они обязаны были уголком, оканчивающимся точно в пяти сантиметрах от основания первой, наибольшей подушки. На всех полках вполне обычной, дубовато-советской «стенки», куда ни кинь взгляд, замерли в степенном шаге многочисленные слоники с эрегированными хоботами: папа-слон, за ним – мама-слониха, далее слонята мал мала меньше, соблюдая строгую иерархию, шагали друг за другом вдоль пестрых рядов редко тревожимых книг и чашек с блюдцами, беззвучно трубя в потолок. Наборы по семь особей в каждом – мраморные, серебряные, малахитовые, терракотовые, хрустальные, майоликовые, коралловые – и даже один раскрашенный пластилиновый, собственноручно вылепленный когда-то Мишей-дошкольником в минуту детского вдохновения, – занимали все свободное пространство.

² Марк, 13:18.

Настольная лампа на рабочем месте Миши имела пыльный тканый абажур и солидное медное основание, опутанное гирляндами фарфоровых лилий, а на люстру под низким потолком, которую все то и дело задевали головой, и вовсе смотреть было немножко страшно: многоярусная, переливавшаяся синим, красным, желтым и зеленым стеклом, невпопад звенящая бесчисленными хрустальными подвесками, длинными и короткими, утыканная бронзовыми розами вперемешку с беззаботно свесившими пухлые икры амурчиками, – она выглядела почти монструозно, производя не то устрашающее, не то отталкивающее впечатление, – а уж смотреть на нее Ветке приходилось часто, по крайней мере, весь десятый класс, когда одну из двух ужасающих постелей они вдвоем основательно разворачивали, проводя там после школы часа по три почти ежедневно, ухитряясь даже поспать недолго в тесном переплетении размазанных тел. Ну, а в одиннадцатом классе на люстру смотрел уже Миша, потому что его довольно быстро расколдовавшаяся после девичества возлюбленная основательно занялась верховой ездой – что ему, сперва тайно страдавшему от утраты мужского доминирования, по мере вхождения во вкус стало нравиться даже больше, ибо Вета, взяв бразды правления в свои мягкие руки, скоро научилась продлевать обоим удовольствие до бесконечности... Рабочий день Мишиной матери-бухгалтера заканчивался ровно в шесть – и к половине седьмого они в четыре руки восстанавливали порушенный монумент на кровати и успевали сесть под пыльный абажур настольной лампы – голова к голове над раскрытым учебником.

А у Веты мама работала дома, она трудилась техническим переводчиком на вольных хлебах, у них рано появился настоящий компьютер, продвинутый «Пентиум», поэтому встречи дома у Поповых происходили только самые целомудренные, с чаем и печеньем, в присутствии мамы, все время тревожно переводившей глаза с невозмутимой дочери на ее сомнительного молодого человека – тощего шатена с взъерошенной шевелюрой и темно-сизыми, как у новорожденного, глазами. Как и большинство русских женщин, она обладала даром безошибочного предвидения, и внутренний ее взор без труда проникал в недалекое будущее, где тинейджерская тощестя пока еще застенчивого юнца превратится через несколько лет в красивую мужскую поджарость, раздадутся вширь плечи, лягут мягкими шоколадными волнами умело подстриженные волосы, длинные ресницы сделают заманчиво сумрачным его пока еще открытый и вопрошающий взгляд... И где он походя не бросит, нет – просто смахнет, как крошку со стола, ее глупую дочурку – пегую блондиночку с незначительным личиком и пока тоненькой, но ровной, без выпуклостей фигуркой, обреченной после родов, в грядущей матерости, располнеть по невыгодному типу «яблоко»... Мальчик нацелился в программисты, компьютерную премудрость хватает на лету, денежкам счет любит – вот взять, хотя бы, торт, который он к чаю принес: дорогой и красивый, слов нет, а с пластиковой крышки наклейку снять забыл: уценка семьдесят процентов, срок годности истекает сегодня... Нет, не будет он мужем ее Веточки... И хорошо! «Ты только не вздумай уступить ему! Сразу не нужна станешь! И опомниться не успеешь! Запомни: главное – им не уступать, иначе потом бегать за ними будешь, а они и в сторону твою не посмотрят!».

Вета, конечно, не могла рассказать маме, что уже почти два года, как не она Мише, а он ей уступил, жарко и обескураженно бормоча: «Вета, а может, не надо?.. Вета, ты точно уверена, что хочешь этого?.. Вета, ты понимаешь, что потом ничего нельзя будет вернуть?.. Вета! Вета...». «Мне никогда не захочется ничего возвращать... Мне нужен ты один – и навсегда», – с полным убеждением шептала она уста к устам.

Виолетта действительно так думала, а благим примером послужила именно мама, любившая раз и навсегда. Та вышла за однокурсника, распределилась с ним в одну организацию прямо перед темным событием истории, до сих пор носившим странное название «перестройка», через год родила дочку, а еще через пять уже стояла в длинном кафельном коридоре, одной рукой сжимая хрупкую ручку своего ребенка, а другой – терзая у горла воротник свитера, и вежливо просила спокойного человека в белом халате и высоком крахмальном колпаке

со смешными треугольными отворотами: «Вы мне этого, пожалуйста, не говорите. У меня дочь пятилетняя. Как я одна ее подниму в такое время? А вы мне – «рак». Какой может быть рак, когда ему двадцать семь лет. Так что вы прекратите эти страшилки и поставьте нормальный диагноз. И, уж, пожалуйста, вылечите. Потому что у нас дочь. И потому что... Просто вылечите. Рак! Какой еще рак!».

А Вета трясла ее за руку – «Мам! Ну, мам!». Она хотела напомнить маме, что такое рак, вернее, кто это: это такие черно-зеленые, мокрые и блестящие водяные животные с хвостом и больно цапающими клешнями, которых папа и лысый сосед по даче руками в больших рабочих варежках вылавливали из-под камней в камышах у них рядом с пляжем на бирюзовом озере – и бросали в глубокое пластиковое ведро, где пучеглазые усатые пленники давили друг друга скользкими уродливыми телами, безуспешно пытаясь взобраться по гладким отвесным стенкам. Позже в огромной зеленой кастрюле их ставили на веранде на плиту – и девочка с тайным удовольствием смотрела, как они варятся, в адских муках пытаясь вырваться из смертоносного кипятка, будто жертвы инквизиции на допросе, но терпят закономерное поражение и становятся красными и неподвижными – мертвыми. «Вот кого смерть красит!» – всегда одинаково шутил сосед, входя на веранду с брякающей сумкой, полной зеленых и коричневых, чем-то напоминавших еще живых раков в ведре, бутылок с пивом. Взрослые дяди и тети садились вокруг стола, в центре которого возвышалось блюдо, где горой были навалены сваренные заживо, отмучившиеся раки, и весело раскурочивали их, бросая хрусткие куски панцирей в специальную миску – как крашеную скорлупу пасхальных яиц – некрасиво высасывали что-то из клешней, хвалили, запивали янтарным напитком из разнородных дачных емкостей, и четырехлетней Веточке разрешалось пригубить пену с папиной и маминой кружек, и было весело... Она определенно знала, что такое рак!

Мама больше не вышла замуж. Злые люди, как водится, объясняли это просто: «Кому она нужна была «с прицепом»!», но мама убежденно говорила всем желающим услышать: «После такого брака, как был у нас, любой другой – ступень вниз». Также считала и Вета про свою любовь: другой не будет, никакой ступени вниз – только лестница, и обязательно вверх, до самого неба. Как положено.

Ступенек вниз оказалось три: первая называлась потрясение, вторая, чуть ниже и не такая крутая, – изумление, а на третьей, пологой и безопасной, под названием «удивление», Виолетта застряла навсегда. Она до сих пор не могла понять – как вообще могла произойти такая нелепая, невозможная метаморфоза. Ведь это был один и тот же человек! Ее родной Миша, с которым она лежала на настоящей пуховой перине среди трубящих вокруг слонов, прижавшись так тесно, что казалось, будто, отодвинувшись, они вырвут у кого-то из двоих кусок приросшей к другому кожи, и слышала теплый шепот у виска: «Между нами сейчас и волоска не протиснуть! И это меж телами! А представляешь, что творится с душами?! Смогут ли они когда-нибудь разъединиться хоть на микрон?!». «Нет, конечно, – спокойно и уверенно отвечала она. – О таком даже думать смешно». Тот же самый, недавно писавший длинные, нежные, достойные любовного романа письма из армии, давший потом ей свою красивую таинственную фамилию и подаривший замечательного здорового сына Влада, – год спустя, наотмашь, по-мужски, не рассчитывая силы, бил ее, прикрывающую локтями исходящую молоком грудь, обеими руками по щекам и хрипло выхаркивал в ее из орбит от ужаса лезущие глаза: «Сука! Уродка! Обезьяна тупая! Да когда ж ты сдохнешь, наконец, чтоб мне от тебя избавиться!». Закон тогда еще не позволял мужу подавать на развод во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка, поэтому освободить его действительно могла только смерть супруги, которой он в тот момент неистово и страстно желал... Любимый, только вчера, казалось, баюкавший ее у себя на груди.

Причину Виолетта узнала через несколько лет после развода: в армии Миша влюбился «не по-детски» в замужнюю женщину, жену командира, – безответно. Это банальное несча-

стве случилось перед самым дембелем, пришлось обреченно возвращаться в Петербург, где ждала исстрадавшаяся от разлуки разлюбленная невеста... Ему бы и тут поступить по-взрослому: объясниться и расстаться – глядишь, и целей – целостней! – остались бы оба. Он же по неопытности решил выбить клин клином, женившись и даже сразу настояв на ребенке, – желая сжечь мосты и упрямо шагать вперед. Мосты сгорели успешно, но любовь сотворена нестерпимой – это он понял быстро и возненавидел жену просто за то, что она – не та, которая еще много лет стояла перед глазами... Михаил буднично, именно походя, как давно ожидала его прозорливая теща, сломал Виолетте жизнь. Оставшись одна с ребенком и потерявшей работу матерью, которая теперь перебивалась случайными заработками, а чаще всего неподъемной гирей, с которой хоть топиться иди, висела на шее дочери, Вета не смогла окончить свой любимый медицинский институт, вылетела после третьего курса с правом работать медсестрой – и ею всю жизнь и проработала, таща на хребтине семью: сначала на двух сестринских ставках и одной санитаркиной в простой городской больнице, а потом удалось пробиться в получастную клинику, где хотя бы не приходилось мыть палаты с коридорами и выносить судна из-под лежащих... Мама умерла от быстрого и безболезненного инфаркта в пятнадцатом, успев пышно отметить свое никому не нужное и безрадостное пятидесятилетие, – и тогда Виолетта, в то время стремительно увядающая фиалка, позволила себе такую роскошь, как всего полторы ставки, благо девятилетний Владик учился в бесплатной районной школе и особых расходов не требовал, а на себя она давно махнула рукой: пара юбок, пара свитеров, обувь какая-то еще от матери осталась, плюс потертая дубленка с лысеющим, как старый пес, воротником, да защитного цвета пуховик, почти приличный, если регулярно обирать с него перья... Косметикой Вета не пользовалась, украшений не носила, серые волосы закалывала удобной заколкой.

Но никак не могла перестать удивляться.

* * *

Через час все было кончено. Апокалипсис на какой-то срок отменялся. Отбой воздушной тревоги. Там, во временно «свободном» мире, где существовал еще, наверное, интернет, вероятно, знали, что именно произошло, а по их единственному питерскому телеканалу врубили в половине четвертого утра успокоительную комедию конца прошлого века: седой представительный мужчина в костюме и галстук, висая на карнизе небоскреба, цепляется одной рукой за раму открытого окна, из которого только что выпал, а другой – за детородный орган могучего каменного атланта, поддерживающего крышу здания, и, судорожно разинув рот в сторону своей экзотической опоры, изо всех сил тшится подтянуться обратно на подоконник; видя эту сцену женщина с феном в другом окне истошно визжит...

Забытую Владом заначку – непочатую бутылку среднего качества водки – его мать нашла сравнительно недавно, но в дело – с полным правом! – пустила только сейчас. Руки тряслись крупным треском – Виолетта задержала на них взгляд: разве это руки дамы? Или хотя бы просто женщины? Шершавые, с упругими шнурами вен, пока еще светлыми, но явно проступившими старческими пятнышками, неровно обстриженными ногтями с безнадежно заросшими лунками... Это руки бабы. Замотанной, навсегда испуганной и загнанной в пятый угол русской бабы, которой уже все равно. Фиалка увяла полностью, вот-вот упадет на землю ее сморщенный стебель – но весной не взойдет новый яркий цветок, потому что весны не будет. Скорей всего, ни для кого.

Она налила себе большую рюмку до краев, выдохнула, зажмурила глаза и опрокинула. Первая, как и должно, зашла «колбм». Вета наугад нащупала чашку с остатками вчерашнего бледного чая и сделала большой глоток, промывая обожженное горло... Стало легче. Молодец ее беспутный сын Владик: забыл бутылку, когда переезжал к своей Василиске. Хоть есть за что сыночка похвалить.

С сыном Виолетта в одиночку не справилась: в девять лет оставшись без бабушкиного строгого и нежного догляда, слишком рано получил он неположенную по возрасту вольность. Вета работала на полторы ставки – сутки через двое, и потому буквально с младшей школы пришлось Владу научиться эти сутки проводить полностью самостоятельно: газ она перед уходом перекрывала, поэтому мальчишка бойко разогревал обед в микроволновке и нес к компьютеру, где до поздней ночи погружался в продвинутые игры, даже не думая делать уроки или (к великому счастью) выскакивать в кишаший педофилами двор. Судя по обилию фотографий пропавших без вести детей обоего пола, коими обклеены были очень многие окрестные парадные, столбы и даже деревья, обширные дворы округи действительно представляли собой нешуточную опасность для рискованного ребенка, но вот за свое домашнее немногословное чадо Вета могла почти не волноваться, каждую свободную минуту звоня ему по скайпу и убеждаясь, что от игрового компьютера мальчик отходит только в туалет или на кухню за невинной вкусняшкой. Вне дома он оказался за все годы лишь несколько раз – но исправно отвечал со смартфона, озвучивая вескую причину отлучки, – например, севшие батарейки капризной «мыши» или день рождения очкастого соседа по парте. Следующие два дня проводя дома, мать гоняла упрямого отпрыска от компьютера, угрозами усаживала за уроки, которые Влад неохотно, но быстро делал, не вынимая наушников. Голова его, видимо, варила неплохо, потому что, не прилагая для учения почти никакого серьезного труда, в школе он уверенно занимал твердую и ровную позицию хорошиста с редкими тройками, что вполне устраивало как отрока-пофигиста, так и его со всем смирившуюся мать. С легкой грустью думала она редкими спокойными ночами в сестринской, когда удавалось прилечь и подремать вполглаза на мягком дерматиновом диване, медленно и коварно поглощавшим куда-то в колеблющуюся глубину ненадолго прилегшего человека, что помедлила бы ее мама воссоединиться на Небесах с любимым супругом – и, пожалуй, удалось бы им вдвоем слепить из головастого и невинного Влада отличника-медалиста с гарантированным будущим. Но одна Виолетта не потянула... К одиннадцатому классу у нее вырос рыхловатый юноша-тюфячок с неясными перспективами, смутными планами, равнодушно послушный, с лучшим другом-компьютером... Поэтому великой тайной, так никогда и не раскрытой, стала для Веты внезапная бурная любовь сына к однокласснице Леночке, тоненькой богемистой девушке, носившей по серебряному колечку на каждом пальчике, что странным образом выглядело не безвкусно, а загадочно. Леночка готовилась поступать в театральный, даже успела несколько раз сняться в эпизодах популярного детективного сериала, затащила туда в групповку покорного, как телок, Влада – и вот уже, вернувшись с ночных съемок в здании городского суда, он, возбужденно жестикулируя, чего за ним с рождения не водилось, рассказывал на кухне как раз пришедшей с тяжелых «суток» матери, измученно припавшей головой к холодильнику:

– Слушай, а это круто, оказывается! Нас там было человек пятнадцать в групповке. Пока артисты снимались в зале суда – а Леночка-то секретаршу, между прочим, играла – маленькая роль, но даже со словами! – мы сидели за столом в холле – и каждому, прикинь, положен бесплатный горячий обед их трех блюд на выбор: там, типа, походный буфет поставлен. А чай-кофе-выпечка – вообще по принципу шведского стола – подходи, наливай, бери, что понравилось... Ну, мы, конечно, сразу все перезнакомились: есть люди, которые постоянно на съемках тусуются, надеются, что в эпизод пригласят. И, знаешь, случается! Одна красотка, черненькая такая, харáктерная – так ее прямо в «Войну и мир» раз пригласили. Там ее из горящей Москвы не то Пьер Безухов, не то Андрей Болконский спасал... Да, так вот, у кого-то с собой, конечно, «было»... Короче, всю ночь тусили классно – периодически только вызывали нас в зал, чтобы, это, публику изображать. Десять минут поизображаем – и опять за стол. А в зале артисты очередные дубли записывают... Наконец, приходит помреж и говорит: групповка свободна. Мы, такие, вещички свои похватили – и всей тусой на выход, светало уже. И вдруг слышим: «Куда? А деньги кто получать будет? Паспорта давайте!». А мы: «Так за это еще и деньги платят?!».

И, прикинь, по две косых каждому выдали без всяких. Наличными. Тут я понял, почему некоторые чуть не каждый день снимаются, – чтоб я так жил!

Неожиданная мечта об актерстве завладела Владом прочно, почти так же, как и Леночка, только та, обросшая знакомствами и сама соответствующего роду-племени, с первого раза легко поступила в институт на Моховой, а Влад с грохотом провалился прямо на первом туре. По наущению Лены, он немедленно записался на какие-то ненадежные полупрофессиональные курсы актерского мастерства, где, внаглую подхалтуривая, преподавали почти все те же мастера своего дела, что и в государственном институте. Надо отдать Владу должное: с самого начала он платил за учебу лично, наострившись что-то ловко писать и продавать в Интернете, – сия наука была его матери непостижима, но она особо и не вдавалась в таинственные подробности... Сын и его девушка поселились в съемной квартирке неподалеку – и тут выяснилось, что Лена беременна. Едва вышедшие из детства полуподростки проявили дурацкую ответственность: тайно сходили в Загс, дабы обеспечить будущему дитяте рождение в законном браке, – и зажили было, как умели, весело – молодые, здоровые, полные любви и надежд... Виолетта не осуждала и не отговаривала: она помнила себя в их доверчивом возрасте, веру в чудо и сама не потеряла вопреки всему, от невестки подвоха не ждала, про сына знала точно, что не подлец. Все могло и сложиться...

Трагедия вошла к ним запросто: так неожиданный гость, не потрудившись позвонить, бесцеремонно звонит в дверь нацелившимся на уютный вечер в кругу семьи, по-домашнему одетым хозяевам – жена без косметики и в бигуди, муж в растянутых трениках гол до пояса... Кто-то из «бывалых» убедил ребят решиться на модные домашние роды: Лена носила легко, играла на сцене до шестого месяца, не поворачиваясь в профиль к зрителям; акушерка, рекомендованная надежными друзьями, знала свое дело на ять... Здоровый трехкилограммовый мальчик родился быстро – в ванне – вынырнул красненьким, науке неизвестным дельфиненком на поверхность и, подхваченный умелыми руками, голосисто возвестил о своем прибытии в предапокалиптический, уже бурно лихорадящий мир. А у его матери не отходила плацента, требовалось ручное отделение под наркозом. Умелая акушерка лицензии на домашние роды не имела и «скорую помощь» все медлила и медлила вызывать, надеясь обойтись своими силами. Вколыв кровотокающей Лене обезболивающее, она уверенно приступила к делу – и вдруг кровь хлынула неостановимо, как из крана. Юный отец, неловко державший первенца на вытянутых руках, не понимал в медицине ровно ничего – а Вету даже в известность о родах не поставили: ведь стоит детям достигнуть совершеннолетия – и решения прекрасно принимаются безо всяких там мам с устаревшими взглядами... С кровотечением акушерка не справилась, принуждена была позвонить в «скорую» – и немедленно скрылась с места преступления, испугавшись грозной ответственности и бросив умирающую родильницу без помощи. Машина приехала простая, не реанимационная, потому что, делая вызов, акушерка побоялась рассказывать диспетчеру подробности, упомянув лишь домашние роды... И до больницы Лену уже не довезли.

А дальше пошло как по писаному. Молодому отцу новорожденный младенец оказался пугающей помехой – и немедленно был сдан с рук на руки бабушке Вете, которая по счастливому стечению обстоятельств как раз вышла в очередной отпуск и сразу смогла наладить правильное возвращение и вскармливание; она же и стала крестной рабу Божьему Иоанну. Предполагалось передать его через некоторое время второй безутешной бабушке: той не было и сорока, так что Ваня мог стать ей фактически новым сыном-утешителем. Однако вскоре выяснилось, что молодая бабушка и сама давно уже ждет ребенка от некоего женатого друга, и второе дитя ей сейчас не по зубам. Вот и остался сиротка-Ванечка у Виолетты, самовольно переименовав ее в пожизненную «Ба» – а отец его, огражденный от армии врожденным, но никак не ощущавшимся плоскостопием, так по-настоящему домой и не вернулся. Заскакивал, правда, пару раз в неделю, сосредоточенно катал кровать, от чего сынишка заходился неостановимым ревом, навязчиво тряс над ребенком огромной нелепой погремушкой, вызывавшей

у того ступор, добросовестно жал на кнопки стиральной машины, забитой пеленками, даже памперсы несколько раз приносил – правда, однажды по ошибке купил девичьи...

Через год он заявил матери, давно оформившей опеку над внуком, что ребенка мало крестить, а нужно причащать еженощно: он-де теперь, наученный смертью юной жены, усердно «воцерковляется» и намерен вырастить сына в вере. К тому времени его увлечение лицедейством исчезло, как не было, он по очереди начинал и бросал какие-то смутные интернетные проекты, окончил несколько разнородных курсов, потом прибил к одному из храмов в качестве «на все руки мастера» – и стены белил как умел, и алтарничал в старом стихаре до шиколотки, и купол золотил – показали и перенял, и сайт вел согласно одному из дипломчиков, и на клиросе подвывал... За все был очень уважаем и получал копейки... А вообще стал типичным «перекати-полем» – видели они с Ванечкой в Крыму этот странный сорняк без руля, ветрил и корней... Упустила она сына. Упустила.

Влад действительно стал прибегать каждое воскресенье, хватал уже чин по чину снаряженную коляску с ребенком и торжественно катил в церковь – не ближайшую, а «свою», особенную, где властвовал кроткий и милостивый отец Петр. Собственно, этим отцовское воспитание и ограничивалось: объяснять подростку Ванечке, зачем и к Кому таскают его утром выходного дня в церковь, не давая выспаться, пришлось именно терпеливой бабушке... А на неделе, хнычущего и надутого от недосыпа, наспех одетая Ба снова и снова волокла его в недалекий и нелюбимый «садик», полный злых тетей и жестоких деток. Поспать вволю позволялось только в субботу – и это Ванечку категорически не устраивало...

* * *

Вторая пролетела «соколóm» – Виолетта ее даже на заливала: чай в чашке кончился, а встать за новым после пережитого не было сил. Не раз приходилось, отоваривая карточки в бывшем супермаркете за углом, почти искренне рассуждать в очереди с товаркой по несчастью о том, что «...если действительно долбанет, то прятаться все равно бесполезно, только хуже будет – уж лучше пусть сразу...» – а когда дошло до дела, неперебиваемый инстинкт самосохранения заработал автономно, не позволяя жертве не то что думать о высоком, но и просто делать лишние, к спасению не относящиеся движения.

При первом же проблеске подлинного понимания, что тревога не учебная, а взаправдашняя, Виолетту подбросило с дивана – а внутри мгновенно включился точный до миллионной доли секунды обратный отсчет. Он не позволил ей сменить трикотажную пижаму на любую приемлемую одежду, но заставил влезть ногами в кроссовки, и одновременно забросить на спину уже много месяцев ожидавший в прихожей своей минуты славы «тревожный рюкзачок», собранный по настойчивым советам держать наготове чемоданчик с запасами всего необходимого «из расчета на трое суток». Последние полгода подобные призывы неслись отовсюду – даже с уличных баннеров, где олимпийски спокойная перед концом света молодая семейная пара навеки покидала благоустроенную квартиру, имея каждый в одной руке по чемоданчику, а в другой – по умытому и причесанному ребенку; озадаченная голубоглазая хаски оставлялась на погибель и для полной убедительности была перечеркнута красным крест-накрест. Впрочем, и хозяевам оставалось максимум три дня – или на сколько хватит чемоданчиков...

Следующий шаг Виолетта сделала в комнату внука, которого, сонного, теплого, сладко бормочущего, одним движением сгребла в охапку вместе с одеялом, – и, зачем-то схватив с тумбочки ключи (что предстояло открывать ими по уцелении и возвращении после нескольких ядерных взрывов?!), бросилась в таком виде на лестницу, сотрясавшуюся от топота многочисленных вниз устремленных ног – и именно в этот момент по каким-то непреложным правилам безопасности отключили свет. Да – случись их бегство зимой – и пришлось бы нестись в полной темноте, но нарождавшаяся белая ночь обеспечила какую-никакую видимость в подъ-

езде – где Вета сразу узнала одутловатое лицо соседки с третьего этажа: глаза ее показались настолько круглыми, что некстати вспомнилась базедова болезнь и, закономерно, – Надежда Константиновна Крупская, чей образ так и мелькал перед мысленным взором Виолетты, пока она не вырвалась с ребенком на руках в серую, без единого цветного проблеска ночь. Их подъезд был крайним у здания, оставалось пробежать метров пятьдесят мимо бывшего торгового центра до одного из восьми входов в подземный переход к метро – и туда, казалось, устремился весь город! Из всех несомых и волокомых детей, молчал, наверное, один лишь Ванечка – случайно глянув ему в лицо, Виолетта увидела открытые, наполненные странным пониманием и почти принятием, совершенно взрослые глаза – и сразу горячо плеснуло в сердце – где сейчас Влад?! – есть ли там метро поблизости?! Остальные человеческие детеныши животно кричали и выли, некоторые упирались, подкашивая ноги, как, впрочем, и женщины определенного типа. Одну такую, извивающуюся и визжащую, из последних сил тащил на руках здоровенный мужик с голым торсом и бритым черепом, по логике обязанный изрыгать страшные ругательства, но на деле, проскакивая мимо, Виолетта ухватила его уютное, будто младенцу в колыбели предназначенное бормотание: «А кто это тут у нас так пла-ачет горько...». Она так и не узнала, удалось ли женщине вырваться и создать ему еще больше проблем: он, конечно, не бросил бы свою жалкую дуру на произвол судьбы, погнался бы за ней – и испарился на бегу, успев или не успев увидеть, как она испаряется тоже. Еще через одну минуту – и, по внутреннему счетчику, за две до герметизации дверей – Виолетта с внуком были у ступеней – но там предсказуемо образовалась галдящая, матерящаяся, рыдающая, проклинаящая, готовая затоптать и уже, вероятно, топчущая кого-то пробка. Люди поднимали вверх самое дорогое: большинство – детей, но кое-кто – и битком набитые чемоданы; и – да, плыли над головами две-три кошачьи переноски: даже среди бушующего вокруг апокалипсиса некоторые кошатники не изменили сердцу... Виолетту стиснуло со всех сторон, одна нога стояла еще на асфальте, но вторая уже зависла над бездной лестницы, сзади кто-то всей тяжестью навалился на рюкзак – надо поднять ребенка! Все еще замotanного Ванечку стало тянуть вниз из ее рук, потому что под ноги толпе попал конец его одеяла; бабушка отчаянно рванула внука под мышки и, к счастью, выдернула вверх, удобно перехватив под попу... А мальчик все молчал, прижавшись к щеке своей Ба, – «Закрой глаза, закрой!» – зашептала она, охваченная смутным желанием выдать все это за сон, а, когда кончится, объявить ночным кошмаром... «Они сожгут нас здесь!!! – вдруг истерически выкрикнула женщина по соседству. – Сами-то сидят сейчас в своих бункерах! С бассейнами и проститутками!». И надо же, и тут нашелся неутомимый шутник, из тех, что и перед казнью ухитряются рассмешить и товарищей с завязанными глазами, и расстрельную команду. Он немедленно прореагировал: «Что, уже, походу, не против была бы их там ублажать?» – и действительно, из ближайшего окружения донеслось несколько судорожных хмыков... Но тотчас раздался истошный вопль: «Закрывают! Закрывают!! Не успели!! Даже в переход не успели!!!». Толпа взревела – «Сейчас гореть будем!!!» – и поднаперла. «Не смотри... Не смотри...» – как заклинание повторяла Виолетта, смертельно боясь, что атомная вспышка ослепит Ваню навсегда, – но не представляя, как они сейчас за миг превратятся в пепел! И надо всем, не прекращаясь ни на миг, неслось прямо с неба, давило и парализовало волю самое страшное: один длинный – два коротких, один длинный – два коротких...

Это, наверное, уже трубили ангелы.

* * *

А остальные мелькнули мелкими пташечками – Виолетта опрокидывала рюмки одна за другой, не замечая ни быстрых ожогов, ни сивушной отдачи, – и дождалась целебного действия: хлынули теплые освобождающие слезы, словно прорвало какой-то давний нарыв, мешавший жить и дышать... Благодать слез была давно уж отнята у нее – не в эти последние месяцы

запредельного напряжения – гораздо раньше: еще когда почти без выходных разносила лекарства, вела электронный журнал, разрывалась между капельницами, грохотала каталками по длинному обшарпанному коридору, ночами возила грязной тряпкой по сбитым плиткам, носилась со шприцами из палаты в палату, отругивалась от провонявших мочой и потом бесхозных стариков, а в половине седьмого утра, после рваного и короткого, как простыня в бесплатной палате, полусна, разносила электронные градусники... Вначале она еще молилась про себя, и тогда набегала легкая слеза саможаления, а потом уж и на это не доставало сил. Так слезы и кончились на долгие годы, но, конечно, копились внутри, иногда прорываясь наружу в виде вспышек ярости на пустом месте или внезапных странных болезней... Сейчас горькая соленая вода текла по лицу неостановимо, и вспомнилось вдруг, как больше тридцати лет назад, еще под занавес прошлого тысячелетия, долго зрел на верхней губе багровый, с жемчужной головкой фурункул, и опухоль перекинулась на нос и щеку, и больно было даже моргать, а еду в виде жиденькой каши мама аккуратно засовывала Вете за здоровую щеку чайной ложкой – и каждый глоток причинял страдание; лекарства и мази не помогали, оперировать в носогубном треугольнике врачи не решались, но однажды фурункул лопнул сам, ночью, залив желто-зеленым гноем всю больничную подушку и оставив по себе алую дыру, в которую легко помещался кончик мизинца, – и зарастала она больше года... Только с оргазмом можно было сравнить то незабываемое облегчение и блаженство – и вот, что-то подобное испытывала Виолетта теперь.

Она уже плохо помнила сумятицу, наступившую после того, как ангелы вдруг перестали трубить, словно споткнулись, и донесся ясный, пусть и записанный когда-то заранее, но человеческий голос: «Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Внимание, граждане! Отбой...». Наступила тишина – на малое время... Потом, из-под земли стал вырастать разноголосый гомон, выкрики, даже смех, толпа нерешительно качнулась в обратном направлении, замерла, дрогнула – и начала распадаться, как раковая опухоль под прицельным огнем облучателя... Ванечка заговорил только, когда надежная Ба отперла дверь все-таки пригидившимся ключом и уложила внука в свою собственную постель, укутала одеялом... Он деловито спросил: «А что, мое, с верблюдиком, та тетя так и унесла, да?». Оказалось, он заметил, что его одеяло упало на какую-то женщину, зажатую перед ними на ступеньках, – и так на ней и осталось. «А у нас еще одно точно такое же есть!!!» – изо всех сил выражая бурную радость, отозвалась Ба, и это было сущей правдой: им действительно случайно разные люди подарили на Новый год два одинаковых детских одеяльца. «Только ты сегодня, пожалуйста, у меня поспи: ведь мой плед такой мягонький, с мишками, он тебе тоже нравится, я знаю...». С обычно несвойственным ему детски-счастливым выражением Ваня завернулся в мохнатое покрывало, с преувеличенной готовностью закрыл глаза и даже ручки под щеки сложил, как пай-мальчик. Виолетта внутренне ахнула: да ведь он понял, что грозило нечто самое страшное, и бабушке пережить это было трудней, чем ему! И теперь, чтоб стало ей легче, Ваня ловко играет роль невинного малыша, который ничего не понял про ночную пробежку, воспринял ее как необычное развлечение, совершенно счастлив, вернувшись домой и получив разрешение поспать на бабушкином диване... «Ах ты, милый... – только и смогла выдавить Виолетта сквозь сухой ком в горле. – Маленький, а уже такой... большой».

* * *

Мысли путались, оглушающая нервозность, сопровождавшая последние месяцы каждый шаг, постепенно отступала... Как медик, Виолетта заученно кляла в мужских палатах водку – врага номер один семьи и здоровья – но сегодня вынуждена была испытать на себе всю пользу народного напитка. На дежурство не надо, в «садик» она Ванечку сегодня не поведет – да и вообще, после сегодняшнего ночного приключения, кажется, не поведет никогда! На несколько секунд она представила себя воспитательницей их старшей группы, двадцатидея-

тилетней Светланой Викторовной, у которой есть сын-первоклассник... Под детским садом имеется бомбоубежище, о чем гласит полуметровая надпись со стрелкой на стене здания, – говорят, чистое и с запасами, но мелкое, то есть, будущая братская могила. По инструкции Светлана Викторовна должна при первых звуках тревоги немедленно отвести группу в убежище и оставаться там с детьми до отбоя – если таковой последует; а если нет – то умереть там вместе с воспитанниками, как Януш Корчак в газовой камере³. Только тут все, наверное, произойдет быстрее... А может, рванет далеко, и ребятки с воспитательницей выживут... Только вот представить себе, что молодая женщина-мать кинется спасать два десятка чужих детей, плюнув на спасение одного – своего собственного, который в тот момент окажется неизвестно где и с кем... Вряд ли. Виолетта, например, покинула бы их всех на произвол судьбы при первом же звуке сирены – и бросилась спасать внука или погибнуть с ним. Чудовище она или нет – пусть судит тот, кто поступит иначе... И после того, как поступит. Вот, на работе, например, дежурным сестрам и санитаркам вменено в обязанность в случае тревоги обеспечить отправку всех больных отделения в бомбоубежище – и что? Они действительно кинутся это делать? Но даже младшая уборщица с дебильным лицом и вечно приоткрытым ртом понимает, что ходячие никакой помощи ждать не будут, сами рысью помчатся в направлении, указанном грозными стрелками, а лежащие... Ночью, например, двум сестрам и санитарке втроем никакими силами не успеть перевалить всех на каталки и за семь-четыренадцать минут не спустить по лестнице в укрепленный подвал, да еще без лифта, который вместе с электричеством будет сразу же отключен... Никак. Делать этого никто не станет. А после, даже если кто-то уцелеет, спрашивать будет бесполезно – и, скорей всего, некому и не с кого... За совершенные в те минуты предательства никогда не взыщется, а за героизм – не воздастся. Во всяком случае, на земле. Ну, а там... Там войдут в положение. Потому что знают, что грехопадший человек – дрянь...

Виолетта перевернула бутылку вертикально верх дном, поймала рюмкой последнюю тонкую струйку, постучала по доньшку – и аккуратно переместила пустую тару под стол – по старой памяти: так делали с незапамятных времен, чтобы пустая бутылка не коснулась стола, что грозило хозяевам дома обнищать до того, что никогда больше не выставить на стол полную! Так делали, но это не помогло: по карточкам на человека полагается в месяц килограмм таинственных «мясопродуктов», десяток яиц, по килограмму крупы, муки и сахару, двести грамм масла сливочного, литр растительного и бутылка водки на взрослого, а детям вместо этого последнего – три литра молока. Это считается гарантированным – но только если ты трудишься на государственной службе, являешься пенсионером или ребенком. Частные работодатели обеспечивают работников по своему усмотрению, всем остальным не положено ничего: крутился до этого – выкрутишься и сейчас... Все, в карточки не заложенное, нужно «ловить»: любые овощи, хлеб-булку, мыло, кур, чай, спички, свечи... Да мало ли еще что! «Поймав» что-то некарточное, берут столько, сколько дают в одни руки, или сколько удастся унести; на площадях у бывших торговых центров, заранее превратившихся в пугающие памятники погибшей цивилизации – темные сооружения из ржавой арматуры и битого стекла, ежедневно бойко работают спонтанные обменные базары, где счастливчик, разжившийся десятком кусками мыла, может обменять их на десять же коробков спичек или столько же хозяйственных свечей – и уже деловито скользят в толпе мародеры, выискивая желающих пока еще тайно обменять золотые украшения на лекарства – ибо даже аспирин, чтобы сбить температуру ребенку, теперь продается только по рецепту в киосках при медучреждениях, а чем торгуют аптеки, не знает никто...

³ Польский педагог и врач еврейского происхождения (настоящее имя Эрш Хэнрик Гбльдшмит), в годы Второй мировой войны добровольно оставшийся со своими учениками, обреченными на смерть в газовой камере концентрационного лагеря Трелинка, несмотря на то, что фашисты предложили ему свободу.

Лично Виолетта беззастенчиво ворует оставшиеся лекарства у себя в клинике – и совесть ее не мучает...

Последнюю рюмку она выпила уже как воду – в половине шестого утра, упорно силясь вспомнить, выстроить события в правильный ряд: как могло все произойти так быстро? В какой последовательности подтягивались предварительные беды, чтобы где-то в оговоренном месте слиться в одно огромное, все затмевающее горе, и нагрянуть без предупреждения? Ведь еще минувшей осенью, да-да, осенью, когда был ее последний отпуск, они с Ванечкой преспокойно (ну, положим, не так уж спокойно, волновалась она, конечно, – как да что, но решилась же!) летали в Судак на бархатный сезон, объедались пьяным, густо-янтарным виноградом, и ягоды, казалось, были налиты сладким вином сами по себе, от солнца, и Ваня выбирал из легкого прибоя только зеленую гальку, про которую какая-то девочка наврала ему, что это дорогой нефрит, и он поверил, что они с Ба вот-вот разбогатеют... Перед Новым годом вдруг начался Великий Исход петербуржцев из родного города: ощущение близящейся катастрофы, растворенное в воздухе, гнало вон тех, кто имел загородные дома: люди стремились отправить хотя бы семьи подальше от мегаполиса-мишени. Виолетта могла только с завистью слушать разговоры удачливых коллег, имевших дальнюю недвижимость, где подвалы уставлены домашними заготовками: ее-то собственная купленная по случаю за бесценнок щелястая избушка, топтавшая курьими ножками болотистый участок в районе Мги, благополучно сгорела еще позапрошлым летом – сама, без хозяев; то есть, подожгли, конечно, соседи, желавшие расширить свой участок, – но Виолетте предложили такие унижительные копейки, что она из принципа оставила бесполезную землю за собой, хотя возвести там новый домик не имела ни сил, ни средств. «Может, Влад соберется когда-нибудь, – утешала она себя. – Женится, другие детки пойдут, а тут тебе земля готовая, бери да стройся...».

Зависть к коллегам кончилась в тот день, с которого стало по-настоящему страшно – навсегда. Это случилось в феврале, когда в понедельник на работу неожиданно не вышла старшая медсестра Катерина, еще в Рождество отправившая маленькую дочь с бабушкой в хорошее обжитое село под Новгородом, где был у них лет пятнадцать как куплен, перестроен и оборудован надежный бревенчатый пятистенки, служивший в качестве дачи уже второму поколению... Старшая не позвонила сообщить о том, что заболела, ее домашний и мобильный молчали, доживавшие свое социальные сети сообщили, что она уже двое суток не выходила в интернет... Вечером операционная сестра, со старшей приятельствовавшая, по собственной инициативе отправилась к ней, боясь, что мог произойти несчастный случай, – упал, например, человек в ванной, лежит без сознания... И один нюанс имелся, деликатный: у нее были ключи от квартиры пропавшей, выданные недавно подругой для тайных встреч с женатым любовником.

Утром операционная сестра растеклась по дивану в сестринской, опухшая от слез до неузнаваемости: войдя накануне в чужую квартиру, она увидела Катерину в петле, уже окоченевшую...

На шум, производимый на лестнице всеми скорбными службами по очереди, от медцинской до ритуальной, следовавшими одна за другой, вышла и без того заплаканная соседка и, узнав в чем дело, пуще разрыдалась прямо перед полицейскими. Позавчера она встретила Катеньку на лестнице: та поднималась в свою квартиру, шатаясь и цепляясь за стену. Соседка удивилась: такая положительная женщина – и вдруг пьяна, как бомжиха. Нет, Катя оказалась трезвой. Она ездила на выходных навестить семью под Новгород. Приехала – а в доме уже опергруппа и следователь. Обоих – и пожилую мать ее, и маленькую дочь зверски изнасиловали и зарезали. Дом оказался разграблен дочи́ста, ни крошки съестного, ни одного сколько-нибудь ценного предмета в нем не осталось. Опера посочувствовали, сказали, что случаи такие в районе только за последнюю неделю исчисляются десятками, и, по мере бегства людей из больших городов, это явление вскоре станет рутинным и повсеместным. А противостоять ему не сможет никто. Беззащитные деревенские и просто дачные дома станут легкой добычей с

каждым днем все более и более разнузданных отморозков. Даже двое мужчин с оружием в руках не смогут оборонить семью от банды вооруженных, пьяных, обкуренных или ширнутых нелюдей... И лучше мгновенно сгореть при атомном взрыве в Петербурге или Москве, чем попасть в лапы шныряющих по тылам и деревням озверевших от безнаказанности выроdkов... Коротко рассказав все это соседке, Катя сомнамбулически прошла мимо нее и заперлась в своей квартире... Больше никто не видел ее живой.

Снежный ком сорвался и покатился. На той же неделе «временно» пропал интернет, мобильная связь была ограничена домашним регионом; еще через месяц ввели продуктовые карточки, а на телевидении остались два канала – центральный и местный; включать оба было страшно, потому что там либо шли нелепейшие из комедий, либо в радужных красках, как обязательно победоносная, описывалась ожидавшаяся со дня на день большая война...

Большой Песец шел на мягких плюшевых лапах, давя зазевавшихся, стелился набитым добычей брюхом по застывшей в ожидании крови и пепла земле, воровато мел по сторонам огромным пыльным хвостом, разметаая с пути людей, или вдруг останавливался, оскакивал острозубую пасть и остервенело выкусывал их из лоснящейся шкуры, как нерасторопных блох... БП. Эта аббревиатура еще означала – Без Просвета. Не для всех – для тех, кто не только понимал, но и чувствовал.

Виолетта Алектор была как раз из таких.

На пустом столе перед ней коротко пропел смартфон – пришла смс-ка. После исчезновения интернета они, почти исчезнувшие было из обихода, востребованные только теми, кто перешагнул семидесятилетний рубеж и отчаянно цеплялся за прошлое, вновь, как лет тридцать назад, стали популярным средством связи меж близкими и дальними – правда, только в пределах родного региона. Виолетта пододвинула, его, провела пальцем по экрану – и на крупной аватарке высветилось лицо ее блудного сына. «Мама я уехал в псковскую область, когда вернусь не знаю связи не будет сама знаешь обо мне не беспокойся благослови береги ваньку приеду заскочу», – гласило послание. Виолетта была рада уже тому, что Влад вообще написал ей о том, что уезжает куда-то, – обычно он просто пропадал на неопределенное время, становясь по телефону «недоступным», потом вдруг выныривал из серой пропасти под названием «ниоткуда», а на материнское волнение реагировал резонным: «А чего обо мне волноваться-то?». Теперь же, уезжая зачем-то в Псковскую область в такие беспокойные времена, он вдруг счел нужным даже попросить материнское благословение! Не будь его мать в этот момент так безбожно пьяна, она испугалась бы до печенок: ведь это означало, что сын ждет особой, личной, а не только одной на всех людей опасности от своего путешествия! Но сейчас Виолетта чувствовала простую чистую и сентиментальную радость, какая охватывает любую мать при получении даже краткой весточки от сына. «Благословляю тебя, сынок... – прошептала она, глядя на аватарку, откуда смотрели яркие глаза ее сына. – Дай тебе Бог удачи во всех твоих делах...». И Виолетта перекрестила экран смартфона.

2. Адресаты

Иногда Владислав просто поражался, насколько ложное представление родная мать может иметь о собственном ребенке. Его мама словно прочитала в интернете лженаучную статью какой-нибудь феминистки-неудачницы, где каждому мужчине любого возраста полагалось быть отнесенным по нехитрым критериям в одну из немногочисленных психологических групп с говорящими названиями: «альфонс», «тюфяк», «раздолбай», «ботаник», «маменькин сынок», «подлец», «манипулятор» – и подобными, причем положительных заголовков, вроде «романтик», «защитник», «искатель», «воин», «отец» – не предусматривалось вовсе. Влад однозначно причислялся матерью к презренным «раздолбаям» – потому что не имел должного прилежания к постижению общеобразовательных наук (а она хоть раз слышала о школе, одержимом учебой?! Или, может, имела случай лицезреть такое чудо – в музее, под стеклянным колпаком?!). Переживала, что Влад «с его способностями» – не отличник с блестящим будущим, но сама не умела представить это радужное грядущее, а уж, тем более, путей к нему не знала (кроме приевшегося постулата: «Твоя обязанность – учиться!») и направить по ним сына не могла. По-настоящему мать беспокоила только его физическая безопасность; ее, по-видимому, преследовали по ночам кошмары с маньяками, поэтому, работая сутками, она постоянно желала убедиться в том, что сын ее дома, в относительной безопасности. Газовый кран перед дежурствами машинально закручивала, даже когда ее Владик уже готовился жениться. Бесперывно проверяла наличие своего растущего чада дома за компьютером, вбив себе в голову, что оно занято игрой (это было положено по умолчанию: недоумки-отпрыски ее коллег ничего интереснее в компьютере не находили, кроме, разве что, порнографии). Влад же с тринадцати лет вел собственный продвинутый канал, через пару лет имевший несколько тысяч подписчиков: вроде, ничего необычного, просто высказывал свое мнение по разным вопросам и снабжал их эксклюзивными авторскими фотографиями; только мнения его, выходит, все-таки оказывались особенными, а фотографии – небанальными. За тем же компьютером или в смартфоне он запоем читал онлайн, читал не серийные страшилки про незадачливых попаданцев⁴ или жесткий постапокалипсис, а редкие в последнее время серьезные и жуткие произведения, наводившие на неожиданные мысли, заставлявшие пересматривать мнения, начинать жизнь сначала; читал даже презренных классиков девятнадцатого века, навязываемых школьной программой и вызывавших душевные и кишечные спазмы у большинства одноклассников, – и понял, насколько сложны и глубоки их произведения: ровно настолько, что читать их в подростковом возрасте – преступно рано. Достоевского, Толстого, Булгакова, позднего Гоголя – и даже прозу вечно молодого Лермонтова он отложил на потом, интуитивно постигнув, что может возненавидеть их сейчас – от недопонимания, – ну, а сочинения по ним скатал готовые, с легкостью перефразировав. Зато Пушкина принял, понял и полюбил всего сразу – без оговорок, с детской доверчивостью его недостижимому, на полтысячелетия обогнавшему свое время гению...

Объяснять все это маме? Несчастной маме, носящейся со шприцами и таблетками по ненавистным палатам, годами не слышащей ни от кого ни единого ласкового слова, – и от сына в том числе, но от него – по великой стыдливости и смущенности. Мама была уверена в своем тотальном контроле над ребенком, звоня ему, как ей казалось, постоянно, а на самом деле в быстро вычисленное мальчишеское время. Неоднократно по разным поводам побывав у мамы на работе, со всем познакомившись и всему последовательно ужаснувшись (например, свежему покойнику, ожидавшему на каталке у служебного лифта, пока его отвезут в морг, принятому

⁴ Жаргонное обозначение литературных героев, попавших в прошлое или будущее, параллельные миры, на другие планеты, в чрезвычайные, но в реальной жизни невозможные обстоятельства

поначалу за тугой продолговатый узел с бельем), Влад прекрасно представлял, когда именно может выпасть свободная минутка в плотном графике медсестры, – и старался соответствовать, оказываясь дома перед честным окном компьютерной камеры, на фоне вечного бабушкиного постера с парижскими горгульями... Только несколько раз, нечаянно позвонив по скайпу не вовремя, мать заставляла его вне дома – но отрок всегда знал, как умело отговориться. А когда ему было десять, однажды позвонила прямо в подвал чужого дома, где как раз... Но он ухитрился очень спокойным голосом соврать, что бежит в магазин за батарейками для издохшей «мыши»... На этом месте воспоминаний Влад зажмурился, тряс головой и «менял тему».

Мама, ставшая бабушкой в сорок лет, бабушкой и выглядела вполне – обрюзгшая, в вечных широких и удобных черных брюках, кроссовках и бесформенных куртках, с густой проседью в давно не стриженных, в кукиш собранных волосах; его теще было тридцать девять – но к ней на улице обращались «девушка» и, случалось, приставали тридцатилетние самцы...

Вроде, дураком не считал себя, а женился в восемнадцать. Знать бы тогда, что этим навсегда перекрывает себе теперь единственный, осмысленный и желанный путь – в священство, ибо вторично женатых не рукополагают. Первая любовь, подкрепленная первым же – и удачным – сексом, казалась «вечной», как и всем от века кажется. Да, но только ведь они с Леной – не «все»! У них не могло случиться пошлой тривиальности, раскидывающей в стороны незрелых подростков, случайно спарившихся на высокой волне гормонального всплеска! У них была любовь двух сильных и зрелых личностей, любовь, неподвластная статистике и животным инстинктам... Ага, сейчас! И ведь буквально за месяц до Лениной беременности – представьте себе, не случайной, от неумения, как все снисходительно считали, а вдохновенно спланированной! – Провидение нарочно свело его за одним столом в случайной компании со случайным парнем, только что пришедшим из армии.

– Слушай, как я бате своему благодарен! – наваливаясь на Влада пьяным плечом, жарко дышал ему в ухо водкой свежеиспеченный, едва форму снявший дембель. – Иди, говорит, и служи, как мужику, б..., положено. Раньше два года трубили, н-на... А ты один год в Подмосковье на паркете⁵ каблуками отбарабанишь не хочешь... В новой форме от Зайцева... Я головой мотаю, а сам думаю: вдруг она не дождется? Красавица ведь – кобели вокруг так и скачут... Но батя ни в какую. Не будет тебе отмазки, говорит, и все тут. Короче, идти пришлось. Ты б только слышал, как мы на проводах в любви объяснялись, какие страшные, б..., клятвы друг другу давали...

– И все равно не дождалась?! – горько посочувствовал временному знакомцу Влад.

Тот налил себе еще одну, чокнулся с пустой рюмкой Влада, опрокинул, занюхал острым перчиком и признался:

– Не-а. Не она. Я не дождался. Первые полгода еще туда-сюда, каждый вечер в час свободного времени смартфоны разрешались – так и по скайпу трепались, когда получалось уединиться, и письма ей строчил чуть не в стихах... А потом как-то надоедать стало. Раз пропустил, другой, соврал, что дневалил вне очереди – и, вроде, уже как-то не очень надо стало... Отвык. Потом несколько ее писем перечитал зачем-то – а там все одно и то же, в одних и тех же словах... «А ты, милая моя, глуповата, оказывается», – думаю... Ну, а еще через пару месяцев девчонка одна, прапорщица из канцелярии, на глаза попалась... Красивая, стервоза, как супермодель. По сравнению с ней моя – просто крокодила зеленая... И так поганно мне стало: скоро приеду – и жениться придется. А уже не волокно, н-на... Короче, моя сама мне помогла: раз – и на стену к себе пост выкладывает, где они с подружкой у другой на дне рождения явно пьяные сидят, рожи корчат... Ну, я и отписал ей сразу в комментариях: раз ты такая, мля, самостоятельная, что без своего мужика по гостям шляешься и водку жрешь, то, типа,

⁵ Привилегированные должности во время прохождения срочной службы, когда военнослужащий избавлен от обычных солдатских тягот (различные канцелярские, медицинские, оформительские и другие узкопрофессиональные).

прости-прощай: откуда мне знать, кто фотоаппарат держит, и чем вы там вообще занимаетесь, пока я армейскую лямку тяну. И заблокировал ее – сама, мол, виновата! – парень налил себе еще, задумчиво выпил и выдал расхожий трюизм: – Прежде чем жениться, нагуляться надо. Иначе огребешь.

«А вы, сударь, подлец... – думал нетрезвый Владислав Алектор по дороге домой. – Девушку обнадежил, потом она ему разонравилась – так на нее же и свалил! Хорош, нечего сказать... Да, впрочем, чего от него и ожидать-то было? Быдло быдлом, да и «невеста», небось, из того же теста, ха-ха... Какая вообще любовь у таких могла быть? Одно только спаривание и воспроизводство... У кого это я прочитал: чтобы любить и страдать по-настоящему, нужно иметь душу воспитанную? Неважно... Но это точно. Это как раз про нас с Леной».

На что способны их воспитанные души, он понял уже через полгода жизни бок о бок с возлюбленной. Во сне, с вечно чуть отвалившейся челюстью, Лена была убийственно похожа на какую-то забытую дачную крольчиху из его детства, утром у нее ужасно воняло изо рта, причем, она упрямо лезла к мужу с поцелуями, а по мере развития беременности, стала и сама кисло пованивать хлебом сквозь все свои духи и помады; когда она с красивыми паузами и придыханиями читала перед мужем выученный в качестве домашнего задания монолог, он все сильнее убеждался, что ее актерский талант – не более чем скучный миф, а в институт ее вульгарно «толкнули»; жена спокойно оставляла повсюду, вплоть до обеденного стола, мерзкие предметы, вроде использованных ушных палочек, расчесок с пучками выданных волос, пяточных терок, ватных дисков с пятнами смытого грима, нестиранных кружевных носочков – а еще считается, что это именно мужики разбрасывают по квартире вонючие носки! Разговаривая по телефону с товарками, Лена несла такую запредельную чушь («А он что? А ты ему? А она? И что? Вот сучка!»), что ему хотелось выматериться, вырвать у нее из рук айфон и швырнуть об стену; довольно быстро с ней стало не о чем говорить, потому что круг интересов любимой оказался драматически заужен предвкушаемым успехом на подмостках, ничего больше знать она не желала, отмахиваясь от любых отвлеченных рассуждений и просто серьезных тем. Чувствуя постепенное охлаждение мужа, Леночка ничуть не изменяла своим милым привычкам – но начинала вдруг навязчиво, как метящая территорию кошка трется о ноги хозяйина, ластиться к нему, источая такую нестерпимую пошлость, что Влад еле удерживался, чтобы попросту не стряхнуть ее руки со своих плеч и не выскочить, хлопнув дверью. Нет, на этой девушке он не женился! Он женился на ухоженной, веселой, умной, опрятной! На какой-то другой, с которой и случилась та вечная любовь, о какой все мечтают! Когда она сделала первый шаг к этой подмене? Как он мог его не заметить?! Почему в тот же миг не усовестил, не остановил, не открыл ей глаза?! Было поздно. Лене вот-вот предстояло стать матерью их общего ребенка, и любые претензии молодого мужа к беременной жене автоматически превращали его в чудовище. В глазах всех, и самого себя – тоже. Он со всем соглашался: домашние роды в воде – пожалуйста...

В роковой день все потекло быстро и необратимо. Сначала он слышал редкие болезненные стоны из-за закрытой двери ванной, негромкие приказы акушерки: роды, казалось, шли очень легко – во всяком случае, во всех фильмах, где их показывали, роженицы выпускали дикие и неприличные вопли, а Лена так ни разу по-настоящему и не крикнула; он, например, гораздо громче вел себя в кабинете травматолога год назад, когда сверзился с велосипеда, и ему вправляли вывихнутое плечо... И таинственный хрупкий сынок, которого скоро с победоносным видом вынесла к юному отцу акушерка, тоже голосил прямо по-мужски – Влад принял его, неожиданно красненького и головастого, в свои трясущиеся руки. Прошло несколько полностью забытых минут – их поглотило трепетное осознание важности свершившегося таинства, после которого жизнь не может идти по-прежнему...

Но эти минуты быстро кончились, и настали другие, навеки незабываемые: темные лужи на линолеуме, окровавленные тряпки по всему полу; на хозяйском диване, наспех застелен-

ном куском полиэтилена, накрытая светлым плюшевым пледом, на котором тоже быстро проступают багровые пятна, крупной дрожью трясется и что-то бормочет родильница – уже отходящая, уже равнодушная даже к новорожденному сыну, в спешке положенному акушеркой голеньким прямо на стол, горько зовущему мать из-под наскоро накинута пеленки с бабочками... Неустойчивый взгляд Лены на какой-то миг ловит искаженное лицо растерянного мужа – а у него нет сил и жалости даже взять ее ледяные руки в свои, прошептать нежное, подбадривающее, потому что нежности не осталось, потому что любовь ушла, потому что ее и вовсе не было; с великим облегчением кидается он на дверной звонок – это приехала уже бесполезная «скорая»...

* * *

И не общались в церкви запросто, и приходили-уходили не вместе – а вот поди ж ты: отец Петр прекрасно знал, про кого, опустив глаза, мямят они на исповеди – живу-де невенчанно... И говорил каждому отдельно: «Кайся в этом на исповеди, молись, чтоб Господь управил», – и ничего более. Потому как знал природу человечью... Ну, что сказать им теперь: либо женитесь, либо расходитесь, либо к Чаше не приближайтесь? А по Номоканону – так и вовсе за это на семь лет отлучать положено. Только уже лет сто пятьдесят, как ни одним вменяемым отцом не применяется. А он, отец Петр, и вообще не знает – не утратил ли сам право «вязать и решить» – с той проклятой ночи, до которой попадья его, Валентина, к счастью, не дожила... Как убивался он, тогда тридцатилетний безумец, узнав, что бездетность ее – неспроста, а из-за рака четвертой стадии, которую никто никогда не заметил, – да и где, кому заметить было? Загнали обоих после семинарии (в один год окончили; она – регентское) в полуживую деревню на краю области, где из медицины – только медсестра-пенсионерка на пункте, два раза в неделю с девяти до часу; ничего не болит – значит, здоров, заболело – анальгин прими или чаю с малиной выпей. А у Вали и не болело. По первости несколько лет, пока церковь достраивали, да трухлявый священнический дом до ума доводили, да прихожан себе отыскивали, – только радовались, прости Господи, что Он детей пока не посылает. Когда заволновались, еще пару лет недосуг было провериться – и вот собрались, наконец, в родной Питер, да и там не сразу руки дошли. А когда дошли – врач у Вали на яичнике огромную кисту обнаружил, удалили – а это рак; метастазы уже и в мозг выстрелили – то-то жена на головокружения недавно жаловаться стала... Думали, что от тревог и многозаботливости, а оказалось...

А оказалось, что радоваться надо было, потому что до той страшной новогодней ночи, что очень скоро разделила его жизнь на роковые «до» и «после», попадья не дожила буквально неделю... И вот уже тридцать один с лишком год он твердо знает: не служи за него невидимо ангелы, как за нерадивых или пьяных попов, – и вино с хлебом у него бы в Плоть и Кровь не претворялись. Только прихожане-то, умильно складывающие руки перед Чашей, не виноваты – вот и вышла ангелам лишняя работа. А то другой им мало. Особенно теперь, во времена, которые, вполне может статься, последние. А раз так – то все эти испуганные полухристиане, теперь валом повалившие в храмы, в том числе и Владислав с Василисой, в жизни будущего века могут оказаться выше первомучеников... Кто он такой, чтобы им указывать, как заповеди соблюдать, да еще и жизни их об коленку переламывать, если сам...

Владик ему нравился – среднего роста русоволосый парень с красивой бирюзовинкой в непрестом, пронизательном взгляде; а главное, по-хорошему, по-доброму веселый парень – не из лукавых смехачей и смехотворцев, а от глубинной доброты и вечной детскости, что прямой дорогой в рай ведет... Действительно жаль, что вдовый, – не то давно бы с Василисой обвенчал его, да и отправил в семинарию. Она тоже замужем не была, ну, а про физиологические подробности ныне особо не вспоминают... Толковый бы получился священник со временем, к людям чуткий и характером легкий – да что уж теперь. А с Василисой точно любовь у них

зреет, большая, тут не обманешься. Она – слева, у поминального ящика, даже в платочке темненьком – хотя сейчас в городах уж такое редко встречается. Со стороны посмотришь – никогда не скажешь, что бизнес у нее там какой-то крутой и успешный, что выйдет из храма – да и уедет на молодом «мерине». Владик же спустится с клироса – и полезет на леса тонкие золотые листы по куполу разглаживать; а к вечерне, когда останется в храме один псаломщик, по совместительству алтарник, – тут опять Влад тут как тут: и на чтении его подменит, и кадило раздует, и Евангелие на нужной странице раскроет – и все ловко, споро, без суеты ненужной... А живут-то с Василисой, скорей всего, вместе... Только в воскресенье часто стоит Влад с малым сынишкой (раньше на руках всю службу держал его, теперь чинно – за руку и иногда, склонясь, по-отцовски увещевает – смотреть умилительно) – и никто его утруждать на службе не думает: без матери ребенка растит, только с бабушкой – шутка ли! Нет, не пойдет за него богатая Василиса... Или пойдет? Есть в ней что-то надломленное... Стихи пишет, искренние и неумелые, что-то про «дикий⁶ стойкий» и «царевен-мучениц», книжку свою издала и подарила ему – прочитал и прослезился: видно, что много человечек пережил, но внутри – как хрусталь, ничего не пристало... Как такое бывает? Красивая женщина, чистого русского типа, под платком тяжелый узел русых волос угадывается, лицо светлое и умное, глаза ясные, сама не худосочная, лет под тридцать, на пальце кольцо с большим сверкающим бриллиантом. Ну и что? Заработала. Когда церковную кружку вскрывают, отец Петр почти наверняка знает, что большая часть крупных купюр – ее. Так что ж – молодухе колечком себя не побаловать? Стоит, никого не трогает, ни с кем не разговаривает – а словно невидимая нить между ней и Владом натянута; нет, не нить – провод. Электрический. Он читает и поет – для нее (должен бы для Бога, конечно, да разве ж усовестишь), а она и в храм – не совсем к Богу, и тоже ничего не скажешь... Да еще сейчас, когда того и гляди жажнет.

Последнее время после службы он домой редко ездил – пусто, холодно, и сирень под окнами ироды вырубili – ночевал прямо в храме, на кушетке в своем настоятельском кабинетике. Вот и в ту ночь правило отбубнил с полужакрытыми глазами – и, у раковины наскоро ополоснувшись, навзничь лег, на лампаду глядя; задумываться не хотел, тогда бы точно сон долой, а уж сколько толком не спал... Да и о чем задумываться? Грех свой он так никому и не исповедал – язык не повернулся, только в общих чертах, запутанно промямлил что-то, когда заезжий священник одну литургию сослужал с ним, – так тот и не понял ничего – короче, не считается... Поэтому лежал почти без мыслей, радио потрескивало тишиной, язычок пламени в оранжевом стекле лампадки мерцал еле-еле... И все равно не спалось, хоть ты что делай, – как заноза внутри гноилась, даже злость какая-то подниматься стала – на Бога, именно на Него, не как-нибудь! Поднялась – и выплеснулась. В глухом раздражении подлетел со своего тощего одра, подумал в подрясник влезть – да не стал из принципа, только брюки натянул и свитер, в мирском в храм выскочил, свет включил... В алтарь, правда, не решился в таком виде – но напрямик к нерукотворному Спасу, лоб перекрестил – и безо всяких там предначертательных⁷ бухнул Ему в очи: «Ну, дай мне шанс! Я ведь тоже тварь Твоя, хоть и гнусная! Немошь мою и Сам знаешь – так помоги же, наконец, как-нибудь! Тридцать один год, пять месяцев и четыре дня терзаюсь – освободи! Ну, не могу я так больше мучиться! Один шанс дай! Один! Ну, а коли не оправдаю – прибей тогда, как пса смердящего, и труп выкини! Во тьму внешнюю...».

Другой бы испугался собственной дерзости, ужаснулся – а отец Петр, иссякнув на полуслове, стоял перед Спасом молча. И вдруг понял, что услышан. И что там сейчас именно о нем держат совет Трое... Постоял немного в растерянности: неужели так просто? Что это было

⁶ Двухсвечник для архиерейского богослужения; две свечи символизируют два естества Иисуса Христа.

⁷ Молитвы (как правило, с «Трисвятого» по «Отче наш») с определенными тропарями, читающиеся перед основным молитвенным правилом или прошением.

сейчас с его стороны – дерзость или... дерзновение? Лучше не думать... Он перекрестился и тихо пошел к себе.

Утром его разбудил стук в окно – значит, пришел кто-то из своих, знавших о привычке настоятеля иногда оставаться в запертом храме на ночь. Светящийся циферблат показывал половину седьмого утра – то есть, службу он, по крайней мере, не проспал, зато кто-то, верно, при смерти, и сейчас повезут исповедовать. Он откинул зеленую штору и увидел близко за стеклом словно росой умытое лицо Владислава, чуть поодаль, за оградой, – пыльный Василисин «мерседес» и ее саму у раскрытой задней дверцы. «Надо же, не скрываются. Точно случилось что-то... Не приведи Бог с ребенком...» – со сна тупо предположил отец Петр. «Дверь откройте, батюшка! Занести надо!» – кричал за окном Владик. «Гроб с покойником? В такую рань? И не позвонили?» – лихорадочно соображал священник, наскоро одеваясь.

Когда он, наконец, распахнул двери на паперть, молодые люди сияли; Василиса держала на весу перед собой что-то, похожее на маленькую столешницу, заботливо обмотанное тюлевой тканью и перевязанное.

– Скорей, отец Петр! – нетерпеливо бормотала Василиса, шагая внутрь. – Помогли бы даме... – она тоже улыбалась.

Донесла до широкой лавки, положила плашмя, и только тогда отец Петр додумался:

– Икона! Храмовая!

– «Нечаянная радость», – гордо сказал Владислав. – Только к вам. Больше некому.

Он не мог знать, что отец Петр в первый миг не понял, что ему просто сообщили название привезенной иконы, зато вспомнил свой ночной демарш к строгому Спасу, дерзкую молитву, понимание, что ее слышали и решают его участь, сопоставил одно с другим... Потому Влад и переглянулся с Василисой совершенно непонимающе, видя, как вдруг зашатался на месте их только что вполне бодрый духовник, как дико взглянул на них, перевел глаза на Нерукотворного Спаса...

– Батюшка... Все хорошо? – решила женщина. – Может, мы что-то не так сделали?

Он кивал, постепенно обретая дар речи, сердце замедляло бег... Решение, значит, принято положительное. Теперь следует ожидать последний шанс.

Икону перенесли в кабинет, аккуратно положили на стол, со всею почтительностью распаковали... Это действительно оказалась она, «Нечаянная радость» с коленопреклоненным грешником; на вид – конца девятнадцатого века, с очень грязными, в потеках и разводах ликами, в дешевом и довольно грубом латунном окладе, во многих местах утерявшем гвоздики, которыми был прибит. Под ним могло скрываться все, что угодно: драгоценная икона, писанная в стиле классицизма или, например, безыскусно напечатанные лики и дурно отесанная доска. В любом случае, это была старинная святыня возрастом около полутора сотен лет...

– Батюшка, гвозди на окладе еле держатся, может, снимем его осторожненько? – угадал его мысли Влад. – И вообще интересно, что там под ним...

– Конечно, снимем, все равно мыть-чистить ее надо, – согласился священник, сам немало заинтригованный. – Где взяли-то?

– Да так... – замялся Влад при потупленном взгляде Василисы. – В деревне одной дом брошенный – кто только там перед нами не побывал! Мы так просто зашли, из любопытства... И вот...

Отец Петр энергично кивнул, не желая вводить ребят в смущение, – что, дескать, за деревня, как там оказались вдвоем, да не ночевали ли случайно в одной комнате, – и все немедленно в шесть рук приступили к делу.

Оклад сходил легко. Дребезжащий, хрупкий, во многих местах истончившийся почти до прозрачности, с будто мышами обгрызенными венцами у Богоматери и Младенца, заросший вековой пылью, грязью и паутиной, выбрасывающий из-под себя россыпи засохших мух и пауков, видевших этот свет быть может, в позапрошлом веке...

Уже было понятно, что это не штамповка – а полноценно написанная заказная икона, прекрасно сохранившаяся, только очень грязная, буквально исторгавшая из-под оклада комья свалившейся пыли и мусора – и вдруг Василиса коротко взвизгнула:

– Ай! Крыса сушеная! – когда вывалилось что-то серое и продолговатое, глухо шмякнувшись об пол.

С полминуты поколебавшись, Влад подобрал это, пробормотав про себя: «Не могла она упасть с таким стуком...» – и выпрямился, отряхивая от векового праха неизвестный предмет:

– Да это сверток, господа... Обернут какой-то очень твердой материей, – («Парусина», – подсказала Василиса), – и перевязан... Ага, веревка сгнила давно...

Бросив свое дело, все они сгрудились над таинственной находкой и принялись осторожно разворачивать ее на краешке стола.

– Бомба времени... Вот, как она выглядит, оказывается... – прошептала Василиса.

– Главное, пока не ядерная, – сострил Владислав. – Смотрите, там бумага под парусиной... Коричневая, как оберточная, только плотнее...

– Осторожно, а то рассыплется еще... – волнуясь сверх меры, потому что откуда-то знал, что все это напрямую касается лично его, предупредил пересохшим ртом отец Петр.

Но лист бумаги оказался промасленным – из тех, почти неподвластных времени, в которых хранили оружие, но по легкости пакета было уже ясно, что металла в нем нет. Бумагу сняли, обнаружив под ней еще одну, в несколько слоев, – твердую и хрустящую, в какой много лет назад продавались бинты...

– Что же там спрятано такое... – выдохнула женщина. – Может, бриллиант? Один, но очень ценный...

– Тебе-то он, в любом случае, не достанется, – с притворной строгостью сказал Влад. – Это все рано достояние Церкви...

– Да и вряд ли он сейчас кому-то особенно поможет. «...Злато будет, как грязь, под ногами потомков»⁸, – поэт это еще в прошлом веке написал, но время, кажется, наступает, – сказал отец Петр и, задержав дыхание, снял последний слой бумаги.

Пронесся общий разочарованный выдох: в сердцевине своей пакет содержал обычный, ввосьмеро сложенный тетрадный листок, пожелтевший до коричневатости, ровно исписанный несколько поблекшими карандашными буквами.

Влад вышел из ошеломления первый:

– Увы, увы, увы! – громко провозгласил он. – Кому бы ни было адресовано сие таинственное послание, адресат явно не дожил до его получения.

– А вдруг нам?! – с робкой и смешной надеждой спросила Василиса, и мужчины коротко хохотнули над ее дамской романтичностью.

– В любом случае, давайте прочтем, – скомандовал отец Петр, и три разноцветные головы – седая, пепельная и темно-русая – интимно сблизились над углом стола.

* * *

Владислав с некоторым изумлением начинал понимать, что ему действительно нравятся именно сильные и независимые женщины, сделавшие, как принято говорить, «сами себя». И обязательно умные – только не традиционно похвальной женской «мудростью», заставляющей отрекаться от себя в пользу надуманных ценностей, а настоящим, от пола не зависящим, гибким и острым умом. Умом, который не подавляет и не наставляет других, а просто есть в распоряжении обладательницы как данность – и женщина автоматически принимает верные решения, без насилия ведет за собой других людей обоего пола – тех истинно мудрых, кому чужды

⁸ Поэт А. Маничев.

петушинные обиды, вроде: «А чего это тут баба раскомандовалась!». Мужчина, оценивший и полюбивший такую женщину, – вовсе не тряпка, как любят изгаляться неудачливые мачо, считающие, что «Баба должна быть вот, где!» – и демонстрирующие брутальный кулак, на деле не способный удержать и курицу. Чувствовать превосходство над откровенно незащитной истеричкой, которую сам себе и вылепил с этой целью, – не велика мужская заслуга, думал Влад. А ты вот встань-ка рядом с такой вот – гордой, цельной, раненой, но уверенно поднявшейся на ноги, – и добейся, чтобы она считала тебя равным и спрашивала твое мнение, – вот только тогда и можешь называть себя крутым мужиком...

В тот летний день почти год назад – когда еще все было почти в порядке вокруг, еще не покатился под гору смертельный ком, готовый вот-вот захватить и его самого, и сына, и мать, и Василису, – Влад неловко оступился на лестнице, спускаясь после литургии с клироса, полетел головой вниз и довольно сильно разбился, подвернул ногу, ушиб грудь и голову... «У меня в машине есть аптечка», – сказала оказавшаяся рядом высокая статная прихожанка в темной косынке, с внимательными светлыми глазами. Он не стал изображать из себя героя – мол, пустяки, до свадьбы заживет, – потому что его действительно порядком оглушило, а на ногу едва можно было ступить. До машины доковылял, с одной стороны поддерживаемый здоровенным парнем-регентом, а с другой – этой доброй женщиной; почему-то ожидал увидеть старенькую обшарпанную иномарку, а увидел новехонький свежeweымытый «мерседес» – из тех, в которых уже были поставлены первые автопилоты. Гаденько ухмыляясь, регент впихнул пострадавшего на заднее сиденье и исчез. А женщина сняла платок, обнаружив волнистые пепельно-русые волосы, небрежно собранные на затылке, – и, улыбнувшись, одним движением вынула заколку, чтобы рассыпать их по плечам. Влад сразу понял, что сделано это было не из пустого бабьего кокетства, а просто по привычке: садясь в машину после службы, она всегда снимала обязательный в церкви покров и распускала волосы, что машинально сделала и теперь. Сверкнули бриллианты в ушах... «Мужик у нее богатый», – ревниво кольнуло Влада, когда спасительница споро, явно имея не раз примененный навык, промывала ему ссадины перекисью и заклеивала лейкопластырем наиболее пострадавшие места; он пока еще был полностью во власти стойкого стереотипа, что благосостояние женщины зависит исключительно от ее мужчины. То, вероятно, действовал яркий материнский пример: нет мужа – есть нищета и тяжкий труд, а будь у них папа – и зажили бы другим на зависть.

– С ногой вашей я ничего не могу поделать, – закончив почти безболезненную, ощутимое облегчение принесшую первую помощь, сказала Василиса (имя ее он давно уже подслушал у Чаши, мимоходом подивившись). – Поехали в травмпункт, нужен рентген, вдруг вы лодыжку сломали...

Влад оценил ее деликатность: она, конечно, могла отвезти его в дорогую клинику, где за деньги его бы в эту ногу хоть поцеловали, и оплатить все исследования, – но, не зная, достаточно ли у него денег на платное лечение, и не будучи уверенной, что он примет их от нее, доставила в обычное районное отделение с длинной очередью покалеченных вдоль темного коридора – спасибо, хоть с рентгеном на том же этаже... Здесь ее христианский долг перед ним заканчивался, с чистой совестью могла Василиса, пристроив терпилу на скамейку, попрощаться – но она без колебаний осталась и просидела с ним плечом к плечу, подбадривая, рассказывая истории про собственные попадания в гипс – забавные, как все давно пережитое и благополучно закончившееся, – не менее четырех часов. А тем временем в кабинете кого-то неспешно зашивали, гипсовали и освобождали от клещей, после выдаваемых в бумажке для анализа на энцефалит... Нога болела жутко и пухла прямо на глазах – а Влад был идиотически счастлив. С Василисой он чувствовал небывалый покой – и совсем не как с матерью, рядом с которой все время приходилось держаться настороже, чтобы случайно не пошатнуть тот образ, который она сама для своего сына придумала – непутевого и безвольного болванчика, – и не огрести тем самым неприятностей. И не как с Леной, при которой требовалось постоянно как

бы ходить на цыпочках, чтобы, опять же, дотягивать до придуманного ею – на сей раз для себя – образа «золотой» богемы. И уж, конечно, не как с несколькими другими девушками, глубоко его не цеплявшими и довольствовавшимися самым рядовым поверхностным отношением: подарил кулончик – значит, любит... С этой женщиной он с самого начала разговаривал, как с самим собой. Она родилась на четыре года раньше него – и тоже так и осталась тайной для собственных родителей, живя своей насыщенной внутренней жизнью, куда путь им был заказан, а внешне с дочерним послушанием демонстрируя то, что они ожидали увидеть: скромную девочку со средними способностями, в лучшем случае, будущую воспитательницу, чью-то в меру несчастную жену и мать... Сразу после школы она без сожаления покинула скучный отчий дом – и дальше пошли сплошные увлекательные «университеты»! Она работала телерепортером и помощником режиссера, организовывала и водила экскурсии, писала статьи в газеты, участвовала в кругосветной экспедиции, издала книгу стихов, волонтерствовала в детском хосписе, основала и раскрутила умный глянцевого журнал, которым владеет и до сих пор, – отсюда и внезапный недостаток. А вот «корочек» не нажила ни одних! Но фору даст какой-нибудь очкастой краснопидломнице... Любого мужчины-авантюрист мог позавидовать внушительному списку «специальностей», коим обучил восприимчивую студентку самый искусный педагог на свете – кипучая человеческая жизнь. Влад смотрел на Василису с восторгом – и вдруг подумал: а ведь у нее, раз она, оказывается, не замужем, были связи с мужиками, и много – не могло не быть – не девственница же она с такой биографией! И вся эта бурная деятельность, за которую уважали бы и хвалили любого мужчину, неизбежно должна была запачкать окунувшуюся в нее женщину – потому что пришлось ей столкнуться с отвратительным безобразием, пережить много такого грязного и страшного, что меняет человека безвозвратно. Мужчине это не страшно – танки грязи не боятся! А вот будущая мать должна хранить чистоту души, не допуская в нее ужасных впечатлений, не наносить ей глубоких незаживающих ран, не допускать разъедающих сомнений – всего того, что лишает сердце умиротворения, необходимого для вынашивания и воспитания здорового потомства, не поврежденного дополнительно ко всеобщей человеческой поврежденности... И все же она была – родная. Тихий свет не угас на дне много чего повидавших серых глаз. Ей одной можно было рассказать не только про тот страшный кровавый день рождения и смерти, который, в конце концов, с каждым мог случиться, – но и о том, как он не подошел к разлюбленной умирающей жене в последние минуты, не утешил, не солгал, потому что знал, что актер из него дурной, и сыграет он неубедительно... Василиса кивнула. Было совершенно ясно, что ей знакомы подобные чувства.

Тут подошла очередь – и вновь подруга не оставила страждущего: вместе пошли (вернее, шла-то Василиса, а Влад комично скакал на одной ноге) и в кабинет, и на рентген, и в гипсовую... Больше они практически не расставались, даже деньги волшебным образом не встали между ними, как Влад поначалу боялся. Но, с присущим ей редким тактом, Василиса не кинулась немедленно одевать-обувать и вообще «приводить в божеский вид», пропихивать «на достойную работу» и обустривать в жизни по своему усмотрению за каким-то хреном подобранного «неудачника», за что немедленно взялась бы другая богатая баба, с полным правом потребовавшая бы за это впоследствии благодарности: полного и безоговорочного рабства... Он действительно почти сразу, в гипсе еще, переехал в Василисину большую удобную квартиру – но продолжал обеспечивать свои нужды сам, по мере сил помогая сыну и матери, которая, разумеется, сразу решила – ведь так положено раз и навсегда! – что ее сына «купила» богатая стерва, которая выкинет его на улицу, как только «наиграется». «Хоть на семью с нее требуй, не стесняйся!» – с тихой свирепостью шипела мать, когда он навещал со скромными гостинцами ее и ребенка. Разубеждать было бесполезно – оттого дома Влад появлялся все реже и реже, да и то сказать: любовь, постепенно расцветая, поглощала его целиком...

Весной, когда мир уже агонизировал, Василисин журнал предсказуемо прекратил свое существование, лишив ее источника дохода, – ей даже карточек продуктовых по закону не полагалось! – а обесцененные деньги таяли на глазах. Влад, став теперь единственным, пусть сомнительным, кормильцем их тесного союза, почти решился сделать любимой официальное предложение – но все тянул и робел, хотя знал, что не встретит отказа. Но, женившись, он никогда не станет безбрачным священником; отказавшись же от брака, потеряет редкого, драгоценного человека, а вынесет ли безбрачие – Бог весть... Слишком много было не вынесших.

В мае Василиса однажды задумчиво сказала за завтраком (завтраки у них еще случались, когда по коммерческим ценам удавалось достать парижский сыр или копченую колбасу):

– Дальше откладывать нельзя, нужно решать что-то с моим домом.

– А у тебя еще и дом есть? – удивился Влад.

Она кивнула:

– На Псковщине, в Островском районе. В тучные годы – как все: купила участок, снесла развалюху, которая там раскорячилась, отстроила зимний дом со всем необходимым... Только ведь сейчас его бандиты, наверное, разорили... Надо поехать, посмотреть, что с ним; и, может, на продажу по дешевке выставим? В случае настоящей войны оставаться в городах, наверное, безопасней – а в деревне, боюсь, будут резать людей за банку тушенки.

Влад помрачнел, вспомнив рассказ матери:

– Уже режут. И давно. У матери на работе родственников старшей медсестры где-то под Новгородом зверски убили. Но в нашем-то городе оставаться точно опасно. Верней, смертельно, потому что, в случае чего, его просто не станет...

– Как бы то ни было, у тебя семья. И надо иметь свободу решения – везти их туда или нет, а для этого – выписать в сельсовете пропуск к моей недвижимости. Ходят, знаешь ли, слухи, что на дорогах из города вот-вот будут введены блокпосты – и никого просто так не выпустят, чтоб мародеры не затопили деревни. Надо ехать, милый, а одна я боюсь... – это последнее Василиса сказала так просто, будто не подозревала, что поразит возлюбленного: страх и она – это вообще совмещается? И, на худой конец, он-то какая ей защита?

– Конечно, поедem! – обрадованный ее доверием, подскочил Влад. – В такое время надо исследовать все шансы... Да и весной, наверное, безопасней... Мы туда и обратно – я своим даже говорить не буду.

Дом стоял на месте – целый и невредимый, с нетронутыми дверями и ставнями, неожиданно зажглось электричество и, сразу подхватившись, как вздремнувшая кухарка при виде строгой барыни, услужливо заурчал огромный золотистый холодильник, класть в который все равно было нечего. Безгрешно переночевав в прохладных сумерках, утром они нашли сельсовет открытым и мирным – в приемной тучная секретарша как ни в чем не бывало обсуждала с главой поселения грядущее страшное событие: вязку чужого свирепого быка, которого хоть завтра на корриду, и своей белолобой телочки, серьезно жалея ее, как девушку, насильно выдаваемую замуж. Справку о недвижимости и пропуск к оной Василисе выдали и заверили круглой печатью сразу же, оставив три свободных строки, куда позже можно было вписать имена ввозимых «гостей». Невежливо было уходить сразу, по деревенским правилам полагалось спросить сначала о новостях.

– Да какие новости! – махнула рукой секретарша. – Вымирает народ. Медицины нет. До района не добраться. Вот и мрем потихоньку. На той неделе бабки Семеновны померли – так за счет сельсовета хоронили, а дом их уж настезь стоит – вон, сама посмотри... – кивнула в сторону окна, за которым действительно низкий коричневый дом вдалеке стоял распахнутым, как разграбленный старинный шкаф.

– Семеновны – это две бабки-близняшки лет по девяносто, – шепнула Василиса в сторону скромно мявшегося в уголке Влада – и секретарше: – Что, в один день родились, в один и померли? Или по очереди?

– Девяносто три им было, – поправила секретарша. – Вера и Надя... В оди-ин... Всю жизнь ходили, как нитка за иголкой, иначе и быть не могло... А родни никакой...

– Чудно-о... – на деревенский манер протянула Василиса и дернула Влада за руку: – Пойдем, посмотрим перед отъездом. Я бабок этих, Царствие им Небесное, хорошо помню. Девственницы были, гордились этим очень. В молодости, говорят, на клиросе пели... – она усмехнулась. – Почти как ты...

...В разоренном и оскверненном доме не было темно – дневной свет шел буквально отовсюду – не только из распахнутых окон и дверей, но даже через какие-то щели наверху: смерть неразлучных двойняшек позволила беззастенчивым односельчанам не только мгновенно обнести их дом, но даже вытащить уцелевшие доски из потолка. Дом отчетливо походил теперь изнутри на древний парусник, потерпевший крушение; беспрепятственно вошедшие Владислав с Василисой чувствовали себя, как в трюме выброшенного на сушу затрепанного жестокой бурей корабля.

– Какое скорбное место... – присев среди отталкивающей кучи рухляди, проговорила женщина.

Она извлекла старый, рассыпающийся в руках фотоальбом, Влад глянул ей через плечо. На залитых дождевой водой, искореженных, почти полностью выцветших фотографиях, проступали лица неизвестных, давно умерших людей. Их карточки хранили, с любовью прикасались к ним, они будоражили память, заставляли болезненно трепетать сердце – но вот настал срок, и чьи-то бледные бумажные лица оказались в куче помойного хлама. Наибанальнейшая история, всегда одинаково печальная... Внимание Влада привлекло высокое, в человеческий рост зеркало, треснувшее сверху донизу, помутневшее от времени настолько, что казалось, будто в нем стоит вечный туман. Он подошел поближе, начал вглядываться – и вдруг в один миг остро, до печенок испугался, увидев отчетливое движение позади собственного отраженного плеча – словно кто-то двинулся навстречу из глубины зеркала. Влад непроизвольно вскрикнул и отдернулся, не сумев скрыть испуг от Василисы. Но та посмотрела на дело вполне серьезно:

– Отойди от греха. Это зеркало за столько лет успело отразить слишком много. В том числе и такого, на что не дай Бог даже намек увидеть. Со старыми зеркалами не шутят... «Алиса в Зазеркалье» не просто так написана... Пойдем в сени, там совсем светло, – и она за руку вывела слегка опешившего друга из комнаты.

В сенях они встали рядом у полностью лишенного стекол окна.

– Тут места непростые, – тихо говорила Василиса, глядя в запущенный, похожий на косматую голову великана, сад. – Не знаю, поверишь ли ты мне, но... Я дважды здесь видела... принято говорить, что галлюцинации, но я все думаю – а вдруг это было другое... На миг открытые кем-то двери в какое-то другое время или мир...

– Я верю, – правдиво сказал Влад. – Я знаю, что жизнь полна тайн, и никому не заказано с ними встретиться... Что ты видела?

– Первый раз просто девочку. Года два назад. Я выходила за молоком на пару минут и не закрыла калитку. Возвращаясь обратно, а у гаража стоит маленькая девочка – лет так пяти, с совершенно льняными волосами и довольно странно одетая: в простую мятую рубашу и длинную, до щиколоток, холщовую юбку, все довольно грязненькое... И сама – неумытая, босая, волосы спутанные... А я ведь всех детей местных знала, деревня-то маленькая. Она могла только приехать к кому-то в гости – но почему в таком виде? Заметив меня, девочка застеснялась и, знаешь, проделала все характерные жесты смущенного ребенка: улыбнулась, набычилась, прижала кулачок к лицу, хитренько посмотрела на меня – и спряталась за стенку

гаража. Я подумала, что нужно ее немедленно вывести с участка: еще схватит что-то острое, поранится, или мало ли что – а я буду виновата. Направляюсь к гаражу и строго говорю на ходу: «Девочка, где твои родители? Тебе нечего делать у меня во дворе!». Заворачиваю за угол, куда и она за десять секунд до этого, – а там никого. И, главное, деться некуда. Ты видел, это просто закуток из трех стенок: гараж, дровяной сарай и баня, а меж ними на четырех квадратных метрах тогда была клумба, а сейчас просто трава... Она абсолютно нигде не могла спрятаться, разве что взлетела. Вот тогда-то я испугалась до кишок, решила, что видела призрак... Потом, припоминая, сообразила, что гостя моя была одета, как крестьянские дети девятнадцатого века на картинах русских мастеров. Говори, что хочешь, но я видела девочку из прошлого, а она – меня.

– Ничего не скажу, – помотал головой Влад. – Так и было, скорей всего... А другой раз?

– А другой раз было раннее-раннее утро, июльское, прямо перед восходом солнца. Мне не спалось, и я вышла во двор; стояла молочная прохлада, а тот луг, который – видел? – у меня сразу за забором, лежал под слоем довольно густого тумана...

– Туман вообще опасная вещь, – подумав, сказал Влад. – Все, что угодно может таить.

– Именно. Так вот, я в одной рубашке и кожаных шлепанцах подошла к забору, чтобы увидеть, как из-за леса – он там дальше, прямо за лугом – выкатится солнце. Для меня это редкое зрелище – я ведь не ранняя пташка... Глянула – и остолбенела: в мою сторону по лугу шли танки. Много... В полной тишине, никакого звука моторов или еще чего-то... Они были отчетливо видны, у меня на глазах рвали туман и словно наматывали его на гусеницы... Это тоже длилось несколько секунд. Я даже испугаться не успела – зажмурила глаза. А когда открыла – танков не было. Тумана тоже...

Сердце Влада бурно забилося, когда он представил себе эту картину.

– Немецкие танки?... – выдавил он.

– Наши. Но, дойди они до меня – и мало бы не показалось...

– Да... – протянул он. – Но это как раз понятно... Тут лет девяносто лет назад шли страшные бои во время Второй мировой. А у тебя на участке, похоже, какая-то аномальная зона, где периодически открываются ходы в другое время... или, хуже, измерение... И, самое страшное, не просто так посмотреть-полюбопытствовать, а можно туда-сюда ходить, как та девочка... Жутковато-вообще-то... Избавляйся-ка ты от этого дома, на фиг... Ведь третий раз-то обязательно будет, и неизвестно, какой...

– Ты так спокойно об этом говоришь, – поежилась Василиса. – Как о чем-то нормальном: другое время, измерение... Блин, да любой здоровый человек скажет, что это чушь форменная, бабье фэнтэзи!

– Ну, ты даешь! – усмехнулся Влад. – Ты выступаешь покруче апостола Фомы! Тот, по крайней мере, уверовал, когда вложил персты⁹, а ты видела своими глазами – и все ищешь рациональное объяснение!

– Может, если б потрогала, как он, то уверовала бы! – усмехнулась женщина. – А так остается все же крошечная надежда на галлюцинацию... Смотри, что там за дверь? Чулан или туалет?

Оказалось, туалет, если можно так назвать небольшую загаженную дыру на возвышении, вокруг которого горой были свалены неаппетитные грязные тряпки и обломки, разбирать которые побрезговали даже мародеры. За вертикальной перегородкой, которой служила цельная столешница, на вдрызг разбитой метлахской плитке стояла не подключенная ни к какому источнику воды ржавая ванна, на дне которой еще держалась коричневая лужа...

⁹ Иоанн, 20:26–29. (Желая убедиться после Воскресения Иисуса Христа, что Он – не призрак, апостол Фома попросил разрешения потрогать Его раны).

– Пошли отсюда, – делая резкий шаг назад, распорядился Влад. – Противно смотреть на все это!

Он круто развернулся в тесном помещении, не удержал равновесие и с кратким: «Упс!» врезался плечом в перегородку импровизированного санузла – и та с грохотом повалилась на расколотую плитку. Машинально глянув, оба ахнули: от удара перегородка разделилась надвое, оказавшись не толстой деревяшкой, а двумя тонкими фанерками, с торцов прикрытыми планками в цвет. Фанерки легко отвалились друг от друга, как куски хлеба в сэндвиче. Меж ними что-то блеснуло тусклым металлом. Любовники переглянулись в страхе и удивлении и одновременно шагнули к находке. Драгоценной начинкой этого невиданного «бутерброда» оказалась небольшая, очень грязная храмовая икона.

* * *

*«12/VII-1941, день святых равноапостольных Петра и Павла.
Окрестности г. Острова, у деревни Веретенниково.*

Пишу, как мне было велено, никого не хочу обидеть.

Отступник, убийца и блудница – так я должен вас называть, а имена ваши мне не открыты. Так что простите меня, грешного. Знаю только, что пройдет много лет, пока это послание дойдет до вас, и что мир, в котором вы находитесь, страшнее даже того, в котором живу я. Мне отказано в праве отмаливать его у Господа – еще живы молитвенники, которые сделают это лучше. Но вам, которые придут, как мне обещано, через трижды по тридцать лет, суждено поднять меня на молитву – и мне будет позволено присоединить свой голос к другим, вопиющим к Небу о помиловании и отсрочке исполнения грозных обетований. Найти меня вам помогут три святые девы-воина, вы встретите их здесь неподалеку. Отправляйтесь немедленно по прочтении письма – времени у вас не то что мало – его почти нет.

*Не сомневайтесь, не бойтесь. С вами мое благословение.
Недостойный иерей Герман».*

Разбирать по слогам не пришлось. Вполне четко видимые, разборчиво и с твердым нажимом написанные буквы свидетельствовали о том, что автор, человек грамотный и образованный, приложил все силы, чтобы его правильно поняли, а способ сохранения письма говорил о том, что пишущий твердо верил в то, что писал.

Трое распрямились у стола и стояли с опущенными глазами. Потрясенная тишина длилась так долго, что перезрела и стала невыносимой.

– Та-ак... – глухим шепотом начал отец Петр. – Так... – Он перевел дыхание: – Судя потому, что ни от кого из нас не последовало закономерной реакции: «Это не нам!»... Никто из нас троих себя из возможного списка адресатов не исключает...

Василиса вздрогнула и подняла голову, священник махнул рукой в ее сторону:

– С вами-то проще всего... Он, наверно, блудницей считал любую женщину, которая... э-э-э... Жила с мужчиной без брака... Не сохранила чистоту...

– Да нет! – с вызовом сказала она. – Если уж на то пошло, что здесь, рядом со мной, кто-то из вас – отступник, а кто-то – убийца... Потому что, как вы совершенно правильно сказали, батюшка, никто из нас инстинктивно не крикнул: «Это не нам!»... То я первая скажу, пожалуйста: в числе моих многочисленных профессий была и такая. Я полгода проработала девочкой по вызову – из тех, что предназначены для высокопоставленных толстосумов. Один из них, добрый человек, меня и толкнул дальше по жизни, обеспечил связями, без которых

хрен бы я достигла того, что имела. На исповеди я, конечно, каялась «в блуде» – да кто не каялся! – но без подробностей. А у меня они несколько пикантней, чем у других дам. Поэтому я себя и не исключаю. Вот так, – и Василиса строптиво вздернула подбородок, словно могла гордиться тем, что рассказала.

Отец Петр с секундным интересом глянул на Владислава – как-то он воспринял такую новость о возлюбленной – но тому явно было не до чужих грехов. Он громко не то выдохнул, не то простонал, поднял голову... Несколько раз набирал воздух, собираясь говорить, не решался, отводил глаза, пучил губы, а потом вдруг выпалил:

– Ну, убийца-то – это я. Мне тогда десять лет было...

Быстро научившись вычислять время маминых контролирующих звонков, маленький Владик вскоре догадался, что свободного времени у него до фи́га и больше, и далеко не всегда проводил его за приятными и безобидными занятиями. Например, его мама так до сих пор и не знала, что лучшим другом его до пятого класса был мальчик самый что ни на есть неблагополучный: один из нескольких предоставленных самим себе сыновей родителей-алкоголиков, Миха был парнем отчаянным – настолько, что вспоминая его в последующие годы, Влад иногда думал, что паренек инстинктивно искал себе смерти, стремясь убраться из неблагоклонной к нему с самого начала жизни пораньше, пока не повалились ему на голову некие лично для него заготовленные несчастья. Перед пятым классом его мать с отцом, полностью опустившихся и пропивших все, вплоть до постельного белья, лишили, наконец, родительских прав, а всех их больных, дебильных, ожесточенных детей разлучили и отправили по разным интернатам. Это спасло Влада от дальнейшего влияния опасного вожака, о чьей дальнейшей судьбе так ничего и не удалось узнать. Но около года, с того момента, как Влад лишился суровой и ласковой бабушкиной опеки, весь четвертый класс после уроков он часто в дни материнских дежурств до темноты носился с Михой и еще одним отвязным пацаном по имени Гришаня в поисках опасных приключений. Иногда они втроем заскакивали к Владу домой, где он едва успевал включить компьютер и невинно усесться перед ним в ожидании, когда мама вызовет его по скайпу, и умело изображал перед ней свое недовольство тем, что его оторвали от интересной игры, – а друзья корчились от хохота в соседней – маминей! – комнате. После этого они опять уносились в раннюю питерскую тьму, зная, что ближайшие два часа звонка не последует, хотя смартфон, тоже, конечно, с подключенным скайпом, Влад всегда предусмотрительно носил с собой... Одно из самых безобидных развлечений, изобретенных Михой, как раз укладывавшееся в два часа времени, происходило на Неве, у ступеней, ведущих к воде прямо за Адмиралтейством, близ Дворцового моста. Доступно оно было только ранней весной, в самый разгар ледохода. Дом Влада стоял прямо у конечной станции метро, откуда ровно полчаса было добираться до «Адмиралтейской», и еще минут десять занимала лихая пробежка по Невскому и Дворцовой до нужного места. В распоряжении друзей оставалось сорок минут, потом следовало потратить еще столько же на обратную дорогу до дома, где с высокой вероятностью в ближайшие четверть часа раздавался материнский звонок и возникало на экране ее тревожное, старше, чем в жизни, лицо под темно-синей медицинской шапочкой, и строгий голос озабоченно спрашивал, не забыл ли «сын» пополдничать...

Миха давно уже неизвестно как вычислил, что течение Невы именно у этих ступенек делает странную петлю: если положить на проплывающую мимо льдину какой-нибудь предмет, то его можно было получить назад не более, чем через три минуты: льдина описывала небольшой круг, обязательно возвращалась к ступенькам – и только после этого утягивалась навсегда и терялась среди других желтовато-серых, с фиолетовым отливом льдин... Ждали темноты, чтобы не привлекать к себе сочувственного внимания впечатлительных граждан. Чтобы проверить, работает ли сегодня аттракцион, запускали на льдине чью-нибудь перчатку и, благополучно вернув ее обратно, ждали льдину побольше, и, когда она подплывала близко, Миха первый прыгал на нее и, балансируя, ехал по кругу. Когда льдина вновь доставляла его к сту-

пеням и уплывала на простор Невы, второй мальчишка проделывал тот же трюк, а за ним – третий... Все это как раз и занимало чуть больше получаса. Поразительно, но никто их ни разу не побеспокоил: то ли люди не замечали в темноте мелкой суеты у ступенек, то ли им было попросту плевать... А еще ребята бесконечно лазали по крышам, на одной из которых соорудили некрутую горку из слежавшегося снега и скатывались по ней к краю, врезаясь в достаточно крепкое, как им казалось, металлическое ограждение. Оно чудом выдержало. Именно чудом, как убедился Влад, уже подростком поднявшись однажды из любопытства на ту же крышу и основательно осмотрев хлипкую, еле державшуюся загородку... Подвалы со своей неизменной таинственностью тоже притягивали: туда Миха, умевший лихо вскрывать всяческие замки школьной скрепкой, часто призывал соратников «бить бомжей» – хотя их мальчишки, конечно, опасались и под разными предлогами обходили стороной: всезнающий Миха давно уж в красках описал, чем для них может закончиться встреча, если силы противника окажутся превосходящими... Но однажды бомж был один и, мертвецки пьяный, спал, как под глубоким наркозом. Они не раз видели его раньше на улице: из всех этих несчастных, встречаемых почти ежедневно, он казался самым никчемным и опустившимся: на нем не было ни единой целой вещи, как на других, носивших пусть и грязную одежду, но все же не рваное тряпье. Вокруг же этого бывшего человека тряпки висели ленточками и колыхались при каждом шаге – даже непонятно было, чем изначально являлись его лохмотья; из широко разинутых спереди ботинок зимой и летом торчали одинаковые фиолетовые культи отмороженных пальцев; борода и волосы цвета земли состояли сплошь из колтунов, будто в волосах его запутались куски старых валенок, глаза вечно источали густой желтый гной – мысль о том, что его тоже родила мама, и когда-то он, беспечный мальчишка, бегал по улицам, как и они, даже не приходила в голову при виде этого утратившего лик чудовища... И вот оно беспомощно валялось перед ними под теплой трубой – грудой зловонного тряпья, откуда изредка неся гниловатый храп... Дело было на исходе невеселого января – сквозь узкое отверстие в фундаменте картина освещалась угнетающим, мертвящим светом отжившего дня... «Идея! – выдохнул вдруг Миха. – Ждите тут, я быстро!», – и он сорвался с места, только ноги дробно протоптали вверх по железным ступеням, ведущим в парадное... В то же мгновение у Влада в кармане запищал скайп: мать звонила не вовремя, что случалось крайне редко и заставляло выкручиваться на ходу...

– Ты где это? – изумленно спросила она, увидев за спиной сына непроглядную тьму вместо привычного постера, привезенного когда-то ее собственной мамой из турпоездки во Францию.

– На лестнице на нашей! Лампочки опять кто-то спер! – быстро нашелся сын. – Бегу за батарейками, «мышь сдохла». Все, пока, мне успеть надо, пока угловой не закрылся! – и он отключился, едва переведя дух.

По роковому стечению обстоятельств, именно в этом доме – только на чердаке – имелся у Михи особый «схрон», куда он ревниво стаскивал все, найденное или попросту спертое в округе, что, по его мнению, могло когда-нибудь пригодиться. Не прошло и трех минут, как парнишка вернулся с белой пластмассовой канистрой, где, как знали его товарищи, было литра два дешевого бензина, откачанного им под покровом темноты из бензобака чьего-то старенького, прошлый век заставшего «жигуленка». При виде невинной белой канистры – такая стояла и у них на кухне, только с фильтрованной водой – Владу отчего-то стало страшно. Он ничего не сказал, не шевельнулся даже – но вот поди ж ты! – звериным своим, безошибочным чутьем Миха почуял желанный любым хищником запах жертвы, и протянул канистру именно Владу:

– Полей-ка его как следует.

– Зачем? – стараясь сохранить спокойный вид, спросил Влад, но голос прозвучал предательски сипло, как у лжеца.

– Полей, говорю! – простуженно (нос у него всегда был заложен, и кашель тоже не прекращался, то ослабевая, то усиливаясь), с нажимом приказал вожак стаи.

Влад не посмел послушаться, потому что от Миши в эту минуту исходила такая осязаемая опасность, что сразу пронеслась вполне правильная мысль о том, что вся дружба их держится только на страхе. Отказываясь понимать смысл своих действий, все еще заставляя себя верить в то, что это очередная жестокая – но шутка, Влад начал трясти горлышком канистры над спящим.

– Да живей ты! – поторапливал юный главарь. – На башку теперь... Сильнее... Вот так. Все, – он деловито забрал пустую канистру. – Теперь ты, – это предназначалось уже молча сопевшему Гришане. – Спички давай.

Тот неохотно сунул руку в карман, но послушаться не посмел – протянул Мише гремящий картонный коробок.

– Слушай, М-миха... – заикаясь от ужаса, решил Влад. – М-может, не будем... Это же... Это нельзя...

Маленький монстр повернулся к нему и сделал движение, будто собирается наступать: с оскаленным маленьким ртом, полным уже почерневших от курева мелких зубок, он остро напомнил крысу; мутные, рано погасшие глаза превратились в темные щелки:

– И пусть он по улицам ходит, да? И пацанов, вроде нас с тобой, в ж... имеет, когда захочет, да? – он мгновенно крутанулся и несколько раз с размаху ударил ногой в рыхлую гору тряпья: – Н-на, н-на, н-на!! Видишь, он даже не перднул – до того ужрался!

Влад инстинктивно попятился, но Миша был тут как тут: яростно толкнув между лопаток, он мгновенно вернул подельника на исходную позицию, быстро чиркнул двумя спичками зараз – и в полутьме явилось небольшое, но яркое пламя:

– А ну, взяли по одной! Быстро, сказал! Я не шучу!

Гришаня и Влад с обреченной торопливостью выхватили каждый по спичке.

– Теперь бросили. Живо! – поступила команда, и Гришаня послушался первым, потому что, как он уверял позже, много позже, спичка догорала, обжигая ему пальцы – вот он и откинул ее, совершенно инстинктивно...

В следующую секунду и Влад бросил свою – по той же причине... Просто так вышло. Но в участи несчастного бомжа это уже ничего не могло изменить, потому что и от первой спички по куче лохмотьев пронеслась быстрая голубая змейка – и мощный огонь вмиг охватил лежащего с ног до головы...

– Валим, – тихо приказал Миша.

Дети рванулись к лестнице.

В парадном никого не было, и лидер негромко подсказал:

– На улице бежим по дорожке вдоль дома, чтобы из окон не засекли...

Они кучкой вылетели на улицу, сзади легонько щелкнул дверной доводчик.

Глухой, страшный, потусторонний вой нагнал их, когда они уже заворачивали за угол. Он донесся словно из-под земли, на миг взмыл до почти до небес, как невидимый огненный столб, – и оборвался, упал на серый снег, так и не достигнув неба; а там в тот момент на миг разошлись антрацитовые тучи, мелькнул пронзительный свет, будто не солнце глянуло на маленьких преступников, а настоящее Ярое Око.

– ...об этом никто не знает. Миша сгинул уже через несколько месяцев – я нигде не нашел его следов, ни в интернете, ни где-то еще... Гришаню перевели в другую школу после младшей, а через девять лет он погиб в армии на учениях – водитель танка не вовремя подал назад... Я же сумел убедить себя, что был слишком маленький тогда, слишком испуганный... И вообще, моя спичка действительно ничего не добавила – все загорелось от первой, Гришкиной... Я почти забыл, потому что после ухода обоих дружков как-то сама собой началась новая жизнь, стал взрослеть, расти, думать... Все это затерлось – да, как кошмарный сон, так принято говорить...

Но там, выходит, зачли... Вот как... – Владислав через силу улыбнулся. – Надо же, думал, что меня это давно не мучает...

– Ага, не мучает его, как же... А во сне кто орет: «Нельзя! Нельзя!»? – мрачно вставила Василиса.

– ...а рассказал вам – и как гора с плеч. Я ее, выходит, все эти годы носил, и убеждал себя, что ее нету... Ну, что я могу сказать... Я, походу, второй адресат, осталось найти отступника...

– А что его искать – вот он, – Василиса спокойно мотнула головой в сторону отца Петра. – Он же сам сказал, что никто из нас не крикнул, что письмо, мол не нам. Значит, тоже знает за собой что-то. Давайте, батюшка, колитесь, ваша очередь.

Священник отвернулся к окну, положил с виду спокойные руки на подоконник.

– А что я? Я, как тезка мой... первоверховный... Тоже ночью... Тоже из страха и тоже три раза... Как говорится, и алектор не прокричал¹⁰.

...Отец Петр находился тогда в состоянии острого горя после смерти Вали. Час назад победоносно, с шиком, вступило на землю третье тысячелетие от Рождества Христова – в их деревне шли дикие хмельные гулянья с фейерверками и таким ревом, словно не люди веселились, встречая Новый год, а пришли варвары этих людей истреблять. Он заперся в священническом доме, погасив свет, чтобы, чего доброго, не вздумали явиться с какими-нибудь дурацкими поздравлениями. Дом стоял, как положено, внутри церковной ограды, прямо у кладбища, и свежая могила любимой жены, которая умерла со странным удивлением, умом понимая, но сердцем так и не приняв свой уход, днем была видна из окна спальни, заваленная миллионным снегом и искусственными венками, – живые уже замерзли, скукожились, и он их выбросил, помня, как не терпела покойная увядших цветов. Ночью из окна был виден только крошечный подрагивающий огонек в красном подсвечнике-стакане с крышкой, защищавшем от ветра и снега толстенную пасхальную свечу... Состояние его было ужасно – не только в душевном, но и подлом физическом смысле: ни разу не заснув по-настоящему, а только иногда забываясь на несколько минут неглубокой дремотой и вновь подбрасываясь в детских слезах, он чувствовал дурноту на грани потери сознания от желания заснуть – и полной невозможности это сделать. При каждой попытке лечь поспать он забывался почти сразу – но во сне приходила беда и начинала жестко, будто петлю накинув, душить, и он выныривал из кошмара, едва переводя дыхание... Водку организм после первых смутных дней уже не принимал – он и вообще слаб был в этом смысле, с двух рюмок сухого когда-то тянуло петь – а теперь даже при мысли о спиртном поднималась к горлу отвратительная волна рвоты. В который раз он механически заваривал чай из дорогого импортного пакета, давно еще пожертвованного кем-то на канун¹¹, равнодушно прислушиваясь к то удалявшимся, то снова приближавшимся звукам праздничной вакханалии – и все смотрел, смотрел неотрывно на красный огонек у подножия Валиного деревянного креста. В голове крутился циничный анекдот, рассказанный кем-то кому-то на поминках – он услышал, но не успел понять среди общего говора, кто так изощрился, не то подошел бы и стукнул при всех... «Какие ваши планы на третье тысячелетие?» – спрашивает журналист известного писателя. «Очень простые, – отвечает тот. – Большую часть его я собираюсь лежать в гробу». Отец Петр опять вспомнил тот момент – и коротко простонал, прикрыв рукой глаза. А когда открыл их, увидел, что Валин огонек исчез и снова появился через секунду, словно мимо могилы быстро прошел в темноте человек, закрыв его собой. Но кто мог ходить ночью по кладбищу среди могил, подивился отец Петр. Разве что новогодние шутники

¹⁰ Марк, 26:33–34: «Отвещав же Петр рече Ему: аще и вси соблазнятся о Тебе, аз никогдаже соблажнюся. Рече ему Иисус: аминь глаголю тебе, яко в сию ночь, прежде даже алектор не возгласит, трикраты отвержешися Мене». (Апостол Петр в ночь ареста Иисуса Христа три раза отрекся от Него во дворе первосвященника до того, как пропел петух, что и предсказывал ему Господь приведенными выше словами).

¹¹ Ящик для продуктовых пожертвований в церкви около Креста, перед которым ставят свечи об упокоении.

решили завернуть и на кладбище для смеха – но те бы горланили пьяные песни и, пожалуй, пускали сдуру петарды... «Наверное, крупная собака пробежала», – решил священник и вновь замкнулся в своем горе, не отрывая взгляда от ожившего в ночи язычка пламени. Но через несколько секунд он ясно услышал сквозь приоткрытую от угара дверь в сени, как кто-то отпирает наружную дверь, осторожно позвякивая металлом.

Находясь в том состоянии, в каком находился, отец Петр на такую мелочь, как испуг, разменяться уже просто не имел физических сил. Он, конечно, понял, что в дом лезут посторонние, но как-то слабо верилось во что-то серьезное – в новогоднюю ночь, перед первым днем нового тысячелетия, при всеобщей безудержной радости и неутихающем грохоте, кто-то тихонько вскрывает дверь бедного священнического дома... Чушь какая-то. Он встал и быстрым шагом направился в сени, решив спугнуть злоумышленников строгим голосом из-за двери: они могли думать, что темный в новогоднюю ночь дом пуст. Но отец Петр и рта открыть не успел, как дверь бесшумно распахнулась ему навстречу, и на светлом снежном фоне мелькнули, заскакивая в дом, две высокие плечистые фигуры. Оба пришельца имели на лице черные балаклавы, но и без того было ясно: это не местные алкаши, решившие экзотическим способом добыть себе полсотни на недостающую пол-литру, – он бы их и в опереточных масках на раз-два вычислил по общему облику – примелькались, да и глаз хорошо поставлен был. Нет, это пришли залетные – по наводке или так – но чужие и шутить не собиравшиеся.

– Так, батек, руки не прячем и медленно отступаем в комнату, – спокойно приказал один.

Где-то внутри себя отец Петр даже обрадовался происходящему: оно словно разбавляло его непереносимую душевную боль. Жаль только было, что собранные с миру по нитке разнообразные купюры, так на лечение Вали и не потребовавшиеся, поленился отвезти в банк, решив после Рождества расплатиться ими с рабочими, уже заканчивавшими недешевый косметический ремонт внутри храма. И лежали они прямо в письменном столе, в среднем ящике. Выходит, пропадали деньги – да и гори они синим пламенем...

Его толкнули на ближайший стул, и, заведя руки за спинку, споро прикрутили скотчем, заодно и ноги приторочив к низкой перекладине. Все делали основательно и очень привычными, ловкими движениями. «Бывалые ребята», – мимоходом подивился отец Петр.

– Ну, чего? – посветив жертве в лицо фонариком, деловито спросил тот, что был более кряжист. – Деньги-ценности сам отдашь или сначала в героя поиграешь?

Отец Петр пожал плечами: знали бы они, как безразлично ему все это сейчас...

– Сам. Вон, в среднем ящике берите. Какой из меня герой... И было б, из-за чего...

Последнее, как чуть позже оказалось, было очень напрасно добавлено. Очень. А пока второй злоумышленник, казавшийся повыше и постройней, просто с некой особой внимательностью остро глянул из прорезей маски. Деньги нашли, оценили толщину пачки, незначительное достоинство большинства купюр...

– Ценного у меня ничего нет, – с неподдельным равнодушием сказал отец Петр. – Даже среди икон – ни одной старинной. Золота-бриллиантов от матушки не осталось, соборей тоже: не уважала. Не верите – проверяйте, но здесь и прятать-то негде: сени, кухня и комната. Машина во дворе стоит, «москвиченок», видели, наверно... Семьдесят пятого года выпуска, от отца еще.

– Ты ему веришь? – негромко спросил кряжистый, которого потерпевший уже мысленно окрестил «Толстым».

– Да, – против ожидания, легко согласился второй – «Худой», конечно, для равновесия. – Какой ему смысл врать. Сам сказал, что не из-за чего геройствовать... Да и глупо бы...

– Ладно. Церковь твою мы и сами откроем, не гордые. Только ведь там, поди, сигнализация... Давай, батюшка, код вспоминай, если со страху позабыл. А помнишь, так говори сразу, – по-деловому распорядился Толстый.

Он так и знал, что домом не кончится, а церкви было жалко: в иконной лавке лежал объемный пакетик с только что закупленными старостой в преддверье массового повышения цен серебряными и золотыми крестиками, цепочками, образками – именными и богородичными, предназначенными для трех принадлежавших храму ларьков, раскиданных по району и понемногу кормивших клир и многочисленных церковных прихлебателей. Денег в церкви не было: все, что наскребли в конце года, потратили на эту покупку, и вот теперь... «А вдруг старостиха поглубже куда-нибудь спрятала, и они не найдут?! Или вовсе домой забрала от греха...» – пришла шальная мысль.

– Денег там нет: как раз ревизию провели. Утварь не из серебра – мельхиоровая. Старинная икона – одна, «Успение», но высотой четыре метра, шириной три и в кованом окладе. Не унесете. Только храм оскверните зря, – стараясь сохранить прежнее равнодушие, легонько воспротивился отец Петр.

– Конечно, нет денег: их на золотишко потратили, – со смешком отозвался Толстый, проявив полную осведомленность.

С горечью связанный понял, что отстоять пакетик не удастся.

Он вздохнул и сказал код, потому что знал, что неминуемо назовет его под пыткой, а, следовательно, будет лишь покалечен зря.

Худой одобительно похлопал его по плечу:

– Молодец, поп, сговорчивый... Я с тобой побуду, а друг пойдет посмотрит... Но смотри, если насчет кода схитрил... Хотя нет, в такую ночь не поедет сюда никакая охрана, они там все бухие валяются, даже за руль сесть не смогут... Короче, мы все равно уйти успеем, а вот ты... – Он прикинул, чем припугнуть пострашнее. – А ты, например, лишишься трех-четырех пальчиков. Так, глядишь, и креститься нечем будет... Так что – не хочешь какие-то другие цифры назвать? Нет? Хорошо подумал? Ну, смотри, тебя предупредили.

– Я уже понял, – глухо отозвался священник. – Код правильный.

Бандиты кивнули друг другу, и Толстый исчез, а поделник его несколько раз задумчиво прошелся по комнате, с вялым интересом светя фонариком по сторонам; луч света скользил по корешкам книг, по современным иконам в окладах и без, по старой югославской «стенке»...

– Было б из-за чего... – вдруг задумчиво протянул грабитель. – А ведь есть, поди, а, батя? Из-за бабок ты не упирался – и правильно: дело наживное. А из-за чего бы геройствовал? А? Скажешь?

– Ну, мало ли... – уклончиво ответила жертва.

– Ну и не говори. Я сам скажу, – луч фонарика вдруг выхватил из тьмы образ нерукотворного Спаса, писанный современным, не особо умелым художником и подаренный на какой-то праздник. – Вот из-за Него, например... – луч перебросился на Казанскую Богородицу. – Или из-за Нее... Или, – он подхватил и подбросил в ладони репринтное келейное Евангелие в бумажной обложке, – вот из-за этой книжицы... А? Так дело обстоит? И не хотел бы геройствовать, а пришлось бы: ряса обязывает.

Тридцать один год, пять месяцев и уже пять дней он помнил, что именно в тот миг ему разом стало страшно. Страх охватил отца Петра мгновенно и целиком, потому что еще раньше самого вопрошающего понял он скрытую цель его праздных вопросов. «Господи... Неужели... Неужели мученичество предстоит... Прямо сейчас... Сейчас, а я не готов... Да нет, не может же быть... Так просто... Нет, я не хочу... Не сейчас... "Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный..."¹²».

– Не обязательно ряса, просто вера... – все-таки нашел он в себе силы прошептать.

– Ага-а... Вера, говоришь? – усмехнулся бандит... – Ну, это мы посмотрим...

Дверь в горницу распахнулась, пропуская быстро обтяпавшего дело Толстого.

¹² Лука, 5:8. (Слова апостола Петра, обращенные к Иисусу Христу).

– Все, как мы и думали, – весело провозгласил он, вытаскивая увесистый сверток из сумки через плечо.

Сердце у отца Петра заныло: нашел, не забрала... Но тут же встрепенулось надеждой: получили, что хотели, и теперь уйдут! Но Толстый поставил сумку на стул и под нацеленным лучом налобного фонарика вновь запустил туда руки:

– Бонус! – фыркнул он.

На свет явились две бутылки дорогого, коллекционного ликерного портвейна, давно уж припрятанные в алтаре от всевидящих певчих и мальчишек-чтецов подальше, для нужд рождественской и всех святочных литургий. За штопором и на кухню не ходили – он оказался в складном ножике Худого, которым обе емкости были немедленно откупорены.

– Ну, за удачное дело! – провозгласил кто-то из них, и, без всякой мелочности чокнувшись прямо полными бутылками, грабители стоя припали к горлышкам.

Они одновременно выдохнули на полпути, Толстый расчувствовался:

– Помню, компот мамка летом из свежих ягод и слив варила... Духовитый, густой такой, сладкий... Напомнил... А ядреный! Не Агдам какой-нибудь...

«А ведь и этих матери рожали... Воспитывали... По головке гладили... Компотом вот поили...» – смутно подумалось отцу Петру. Толстый снова присосался к бутылке, а Худой, не донеся ее до рта, о чем-то вспомнив, передумал:

– Не-е, моя только и умела, что водку жрать. А нам с сеструхой и хлеба вдоволь не было, – и он резко повернулся к связанному священнику:

– Ты вот мне, батек, скажи, если такой правильный: почему твой Бог одним все дает, а другим – шиш с маслом? Чего молчишь, рожу воротишь? Не знаешь? А я знаю. Просто нет там ничего, зря ты надрываешься, – отец Петр с ужасом увидел, что Худой с полбутылки портвейна уже пьян в дымину, видно, будучи алкоголиком уже на третьей стадии. – Потому что если б была там какая-то справедливость, то мою сеструху шестилетнюю мамкины сожители до смерти бы не зае. ли! И бабулька добрая, которая меня к себе жить после этого взяла, не померла бы оттого, что просто косой себе ногу порезала! И меня бы в детдоме табуреткой железной по хребтине не отоварили, так что на три года ноги отнялись, и в дом детей-инвалидов под себя ходить не кинули бы...

– Так вижу, отошли ноги-то? Значит, есть Бог? Потому что если б не было, то, по всему, вы тогда же и умереть должны были... – тихо сказал отец Петр.

– Ах, ты еще проповедуешь... – с непередаваемой ненавистью процедил Худой; он судорожно поднес ко рту бутылку, в несколько хороших глотков опрокинул остатки вина в глотку, отшвырнул в угол тару и обернулся на товарища: – Слышь, он тут проповедует, пидор жухлый!

– Хватит. Валить надо, пока деревня заснула. Скоро утро уже, – Толстый крепко перехватил подельника за локоть и потянул назад, но Худой легко, змеиным движением вывернулся.

– Ща пойдем. Только дельце одно доделаю. Быстро. Погеройствовать дам сучонку...

Едва ли не с мольбой отец Петр глянул на Толстого, но тот уже поворачивался спиной, направляясь к двери, всем своим видом показывая, что ему очень досадна эта заминка, но поделать ничего нельзя.

Худой меж тем быстро задернул шторы и включил настольную лампу, взгляд его заметался по комнате, ища что-нибудь пригодное для намеченной цели, – и немедленно уперся в старый электроутюг.

– Ага! Вот сейчас мы и узнаем, есть Бог или нет! – и он воткнул вилку в розетку.

Ужас захлестнул отца Петра слепой черной волной, пелена отчаянья застила глаза – и несчастный начисто позабыл, что можно еще воззвать к Богу и умолить Его. Вместо этого он со всей интеллигентской жалобностью, на какую был способен в четвертом поколении, обратился к мучителю:

– Послушайте, не теряйте человеческий облик... Вам потом самому будет стыдно... Вы не понимаете, что делаете... Вы просто выпили лишнего... А потом ужаснетесь...

– Кто – я? – вдруг почти трезво и спокойно удивился Худой. – Я уже ничему не ужаснусь. Ужасалка отвалилась.

Он медленно шел к жертве с утюгом в одной руке и маленькой книжкой Евангелия в другой. Утюг он поднес к щеке связанного так близко, что тот почувствовал нестерпимый приближающийся жар и запах паленой курицы: то уже загоралась его собственная борода... Он отклонялся, сколь мог, но в примотанном к стулу положении это удавалось плохо, к лицу приближалась знакомая книга – Евангелие, а с другой стороны неся усмешливый шип:

– Плюнь сюда и скажи: нет никакого Бога... Давай, а не то приложу...

Отец Петр не вынес: зажмурив глаза, он булькнул пересохшими губами и выдавил:

– Хорошо, хорошо... Нет...

Утюг отдалился от лица, послышался похабный смешок:

– Халтура, батя. Штрафная!

Он метнулся к стене и сорвал знакомого Нерукотворного Спаса. Все повторилось: угрожающий жар, попытки извернуться, только перед глазами теперь стоял ясноглазый Божественный лик.

– Плюй и говори: Ты не Бог. Я жду. А схалтуришь опять – половины морды лишишься.

– Не могу... – простонал пытаемый. – Не мучь... Тебе игра, а мне... Не могу...

Но в ту же минуту он ощутил, как каленое железо почти вплотную приблизилось к беззащитному лицу, как затрещали, сторая, взмокшие волосы, еще доля секунды – и этот псих изувечит его!

– Не Бог, не Бог... – торопливо пробормотал несчастный. – Ну, хватит уже, что вы еще от меня хотите...

– Хочу ясного и твердого ответа! – сказали ему. – А ты пока только мычишь, как телок на бойне...

Позади приоткрылась дверь, пахнуло холодом из порядком промороженных сеней, послышался приглушенный голос Толстого:

– Ты сдурел?! Хочешь, чтоб мы спалились из-за твоего гонора?! Скоро петухи запоют, а мы все еще тут торчим! – однако настаивать он не стал, дверь снова притворилась.

– А мы быстренько... – пообещал Худой вслед ушедшему товарищу и с деланой наивностью воскликнул: – Ой, что это? У нас утюг-то остывает... Ох, беда какая... Ну, ничего, ты у меня сам сейчас петухом запоешь, падла! – и утюг был немедленно поставлен сползшему было книзу отцу Петру на удобно подставленный живот.

Он ощутил, как стремительно становится горячо, и задергался, но металл действительно подостыл за разговором и уже не мог причинить сильного вреда, особенно сквозь довольно толстый домашний свитер Валиной вязки.

– Прекратите это... Прекратите... Это варварство... – неубедительно молил несостоявшийся мученик.

А палач его тем временем нес уже заранее присмотренную Казанскую. Розетка сразу нашлась другая – прямо в стене рядом со стулом, и вилка немедленно была воткнута туда. Отпустивший было жар начал исподволь зреть снова...

– Богородицу – не могу... За это накажут... Обоих накажут... Вы просто не знаете... – извиваясь, бормотал отец Петр, но путы держали его крепко, а утюг хоть и подрагивал, но держался на животе; сквозь слезы он уже не различал черты Божией Матери, только видел сероватый блеск небогатого жестяного оклада...

– Давай-давай, – напомнил мучитель. – Не то сейчас утюг в кишки провалится.

Терпеть было уже нельзя, свитер горел, секунда – и раскаленное железо оказалось бы на беззащитной коже... Заливаясь слезами он уже не пробовал сопротивляться и хрипло взвыл:

– Убери!!! Скажу!!! – утюг был немедленно снят, и, содрогаясь от рыданий, отплевываясь от хлынувших кипящими струями слез, страдалец выкрикнул: – Нет Бога! Нет! И не было! Не рожала Его Дева! Довольны?! Теперь уж лучше убейте!!!

Худой невозмутимо выдернул шнур из розетки:

– Зачем? Ты теперь живи, батек. Служи вон. Вино другое купишь. Денег еще наберешь у идиотов. А свитер тебе баба какая-нибудь заштопает...

Вдалеке раздался первый хриплый крик прочищающего горло петуха. Грабителям нужно было торопиться.

Отец Петр обернулся от окна. Седая его голова стала еще белее под молочным небом, карие глаза среднерусской породы славян отразили свет непогашенной лампы, сделав его на миг похожим на великого тезку.

– Я так и сделал, как он сказал. А что мне оставалось? Сан слагать? Приход бросить? А самому куда? Для этого тоже мужество нужно... Только с того дня и до этого, когда причащаюсь в алтаре, – иначе нельзя, люди смотрят – Причастие для меня всегда на вкус, как плесень. Даже если другой священник Дары освящал. Будто от горбушки, позеленевшей откусил. Так-то, – он помолчал с минуту. – Ну, что скажете, адресаты? Вот вам и отступник для вашей теплой компании. Пойдем или так оставим, не поверим?

Убийца встрепенулся, глянул бодрячком:

– Идти, вроде, надо...

– Ну, мне-то, в любом случае, к приключениям не привыкать, – улыбнулась блудница.

3. Адресант

«Если до того момента я еще сомневалась, приписывала его отношение простому дружеству, интересу к моей оригинальности, то именно теперь за столиком у Quisisana¹³, я окончательно убедилась в любви Г. Не могли лгать его ясные голубые глаза, так тепло, так нежно смотревшие мне в лицо, – и я ободряюще улыбнулась в ответ на невысказанное признание».

Герман с недоумением глянул на обложку тетрадки: мелкие, увитые богатыми крендельками и росчерками буквы складывались в едва читаемое название: «Заметки для романа «Живительная любовь» писательницы Надин фон Леманн». «Ах, она еще и писательница!». Он почти захлопнул тетрадку, когда глаз вдруг резануло это изогнутое на манер недавно еще модной дамской шляпы заглавное «Г» – первая буква его собственного имени. Да и в сомнительной «Квисисане» они с этой Надин действительно сидели много месяцев назад, когда у него еще теплилась надежда... Он прикрыл глаза, и под веками словно что-то зазолотилось: это память вернула его в теплый после изнуряюще жаркого дня июльский вечер восьмого года, когда она впервые уговорила Германа «влезть» на некую известную «в ее кругах» богемную «башню Иванова», в которой можно встретить самых выдающихся людей – и даже запросто с ними пообщаться... Да, да, он прекрасно вспомнил теперь опаловый свет угасающего дня, из таинственных недр памяти всплыла даже отчетливо видимая сверху, из огромного окна второго этажа, у которого они с Надин сидели, бордовая лысина городского, появлявшаяся в те моменты, когда он, отдуваясь, снимал фуражку и быстро протирал голову огромным клетчатым платком; живая картинка – веселая барышня в светлом смеется на империале проехавшей синей конки над, должно быть, удачной шуткой вопросительным знаком изогнувшегося над ней дылды-студента; на сердце пустота и темнота... Как лекарь, он понимал, что душу точно не может тошнить, – но испытывал смутную общую дурноту, его, определенно, мучило именно душевно – при полном физическом здоровье. И прежде всего, при виде этой самоуверенной женщины, странно растягивавшей слова:

– Представля-ете, Герман, что он мне сказа-ал, нет, что он сказал, этот профессор! Это же так отврати-тельно... Вот досло-овно: «Оставьте, милейшая Надин, прерогативу создавать миры на-ам, мужчинам. Поверьте, это совершенно не женское заня-ание... Вам пристало розы писа-ать, букеты... Пейза-ажи, на худой конец. А то, на что вы зама-ахиваетесь – не женское, совсем не же-енское искусство! А ведь наши рисовальные классы – для да-ам... Вас неправильно пойму-ут...». Представляете? Нет, вы представля-ете, Герман? Создавать миры могут только мужчи-ины, а меня, с моим умирающим Бонапа-артом – неправильно поймут? По-вашему – то же, женщины не должны создава-ать миры-ы?

– Женщины дают новую жизнь – и каждая из них – целый мир, – попробовал отвертеться Герман, но сразу вспомнил, что, поскольку детей у Надин нет и, скорей всего, не будет, то ей и здесь не повезло.

– Ах, нет, Герман, это совсем не то, – опять завертела она свою шарманку, но слушать излияния по теме женского равноправия было выше его сил.

Он молча пил кофе, дежурно улыбался ей в шляпу и думал, насколько же может быть человек слеп. Взять хоть ту же Надин. Всею собою, во всех проявлениях она иллюстрировала женскую глупость и бездарность – и при том считала себя высоко одаренной художницей, писала маслом умирающего на своем последнем острове Наполеона; Герман видел несколько раз в ее мастерской начатую картину – неумелая мазня, удручающее зрелище... Не желал бы

¹³ Кафе «Квисисана» в Санкт-Петербурге, на Невском, 46, популярное в начале 20-века; ныне – кафе «Север».

он умирать в окружении такого количества исключительных уродов с разновеликими конечностями и плоскими кровожадными лицами! Но богатая дура – наследство ей какое-то на голову свалилось в доказательство того, что дуракам везет, – могла себе позволить любую прихоть, например, превратить чердак собственного особняка на Петербургской стороне в «парижскую мансарду», благо потолок там был как раз скошенный. Туда же она велела притащить несколько мольбертов, разложила по столикам палитры и кисти, расставила всюду гипсовые головы, живописно развесила ткани – и получилась стилизованная «мастерская» – так чеховская героиня стилизовала столовую под крестьянскую избу – гордость Надин и обязательная достопримечательность дома, к которой был приговорен любой доверчивый гость.

Не вслушиваясь в плавную, совершенно бессодержательную речь, полную трюизмов, он иногда медленно кивал, чтоб не обидеть праздную болтунью, и все ждал момента повернуть на главное. Заодно он исподтишка рассматривал ее – и снова поражался. Невозможно было поверить, что девице не более двадцати пяти лет, – казалось, подкатывает под сорок. Но Надин, вероятно, вполне устраивала собственная внешность, а жизнь свою, со стороннего взгляда, заведомо обреченную, она вовсе не считала несложившейся. Без всякой застенчивости она вела себя, как записная красавица и кокетка, с отрочества не знавшая отбою от докучливых кавалеров, и одета была по последней, должно быть, парижской моде, в светлую юбку до щиколоток, с широкой завышенной талией, подчеркивавшей грудь в белоснежной блузке с высоким, почти мужским воротником... Но не ей бы все это носить! Как врач, он умел с первого взгляда примерно оценить вес пациента и мог с точностью до пары фунтов определить, что весу в Надин фон Леманн чуть меньше, чем восемь пудов¹⁴ – и даже частица «фон» перед ее немецкой фамилией каким-то образом добавляла ей тяжести. Никакие корсеты, в которых монументальная дама еле дышала, ухитряясь, тем не менее, отправлять в рот и благополучно проглатывать филипповские пирожки, ее не спасали, и весь наряд, предназначенный для легкой, узкобедрой, будто летящей дамы, смотрелся на ней забавно до карикатурности – да еще с этим массивным аметистовым ожерельем! А уж про смело выставленные напоказ щиколотки и говорить не стоило – из-под стола кокетливо выглядывала слоновья ножища, обутая в узконосую кремового цвета туфлю лакированной кожи и на пуговичках, что выглядело даже несколько жутковато... Широкополая, с целой клумбой наверху шляпа сидела на округлой массе подобранных кверху локонов – вот только под локонами пряталась – и просвечивала сквозь жидкие темные пряди толстая рыжеватая «крыса»¹⁵... И притом, если уж она так следит за своей внешностью, то купила бы простой актерский грим, чтоб замазать коричневатые пятна на скулах, фиолетовые следы от выдавленных прыщей, темные тени под глазами, идущие от нездоровой печени, – она что, всего этого не видит? А золотые пломбы в слегка выступающих передних зубах! И, как специально, все время улыбается, считая, вероятно, свою улыбку обворожительной! Герман вспомнил мать, которая щавелевой кислотой, нанесенной на кончик зубочистки, выжигала у себя на шее малейшие, почти никому не заметные серые старческие родинки, а у Надин две крупные коричневые бородавки росли себе спокойно по обеим сторонам подбородка, из одной кудрявился жесткий черный волос – но ей, при всех ее туалетах и ароматических притираниях, и в голову не приходило пойти и удалить их в специальной клинике, под хлороформом – привыкла к ним и не замечала, что ли? Но разве такое возможно?.. Между тем Надин прикоснулась к его легкомысленно подставленной руке своими пухлыми, чуть заостренными пальцами, поросшими легким черным пушком по нижним фалангам – и он вздрогнул от легкого отвращения.

¹⁴ пуд = 16 кг

¹⁵ Жаргонное название подушечек из конского волоса, которые подкладывали в прическу для имитации густоты волос в начале 20-го века.

– Так что, идем на Башню? Честное слово, Ася Тургенева опять будет стоять на голове... Обещаю! А если сама не встанет – я лично попрошу! Для вас.

Герману совершенно не хотелось смотреть, как какая-то сумасшедшая истеричка будет совершать противоестественные трюки, но в этот момент к столу приблизился слегка разочарованный официант. Раз они не пили шампанского и не ели трюфелей, то и особо вежливого обращения не заслуживали. Кроме того, опаловое сиянье за окном, переливаясь, постепенно переходило в цвета сапфира: приближалось время ресторану превращаться из приличного места в ночное «гнездо разврата».

– Господа еще чего-нибудь желают? – с легкой наглечой спросил официант.

А Герман вдруг до холодного пота испугался, что этот мелкий лакейшка сочтет Надин его женой и презрительно пожалеет тощего барина, приняв за бедняка, женившегося на уродливой жабе из-за денег. Он торопливо чуть ли не крикнул через стол идиотскую церемонную фразу:

– Конечно, Надежда Николаевна! Почту за честь, если вы меня им представите! – уж это должно было полностью разубедить всех подозревающих вокруг!

Надин удовлетворенно сверкнула своими пломбами. Сбоку от нее на стене Гостиного Двора осветили электричеством квадратную рекламу: «"Перуин" для ращения волос» – и тонула, тонула в бурном море собственной растительности роскошная брюнетка в парижском корсете... «Хоть бы ты себе этот «Перуин» купила... – злобно подумал Герман. – Тогда, может, хоть «крыс» бы подвязывать не приходилось!». До той минуты он собирался не тащиться к незнакомым, судя по всему, слегка умалишенным людям, а посадить Надин в ее коляску, откланяться и спокойно пойти спать перед завтрашним ранним подъемом в больницу, раз уж не удалось сегодня заставить ее заговорить о Евстолии, – она просто не обращала внимания на наводящие вопросы, упоенно рассуждая о себе самой. Но после дурацкой фразы, отчаянно выкрикнутой ради не вовремя возникшего лакея, отговориться не представлялось возможности, и, бледный от злости, Герман отодвинул толстухе стул, автоматически предлагая руку...

Внизу немедленно подкатил экипаж, Надин весело крикнула своему кучеру: «Угол Тверской и Таврической!¹⁶», и, подсаживая тучную барыню, Герман подумал, что хорошо бы сейчас захлопнуть за ней дверцу – и бежать, бежать по Невскому прочь, со скоростью мальчишки-газетчика... Но тогда не осталось бы в целом свете ни одного человека, от которого иногда, не каждый день, по чужой прихоти – но все-таки можно было узнать о Евстолии что-то новое. Он покорно примостился рядом. Ее похожая на чудовищный круглый столик с цветами и фруктами шляпа с размаху ударила ему по канотье и чуть не сшибла его с головы. Верх уже был поднят, и в полутьме висел сладкий и душный запах обожаемых госпожой фон Леманн недавно бурно ворвавшихся в моду «Coty»...

*«Только прикосновение полей наших шляп сдержало предполагавшийся поцелуй. Я не знала, жалеть или радоваться. С одной стороны, любовь властно требовала своего, а с другой... Так приятно было знать, что все еще впереди, все только начинается, – и не торопиться и без того стремительно развивавшиеся события. Я придвинулась ближе, стремясь к еще большей уединенности, но Г., видимо, смущенный только что чуть не свершившейся *intimité*¹⁷, застенчиво отвернулся и принялся слишком старательно разглядывать то, что видел на улицах... А что там было рассматривать? Темнота сгустилась, и, когда мы свернули с торцевой мостовой освещенного электричеством Невского, наш путь освещали только редкие газовые фонари... Мне отчего-то сделалось грустно-грустно...*

¹⁶ По этому адресу располагалась знаменитая «Башня Иванова», где в первой декаде XX в. собиралась богема.

¹⁷ Интимностью (фр.).

Вспомнилась нелепая смерть Лидочки Аннибал¹⁸ – от детской болезни, после почти полугода мучений, да еще весь тираж ее книги¹⁹ именно во время смертной болезни был арестован цензурой, что, наверняка, эту смерть приблизило... Как она тогда кинула горящую керосиновую лампу в эту Санжаль, когда та пристала к ее мужу – хочет, видите ли, родить ребенка от гения... Я при этом присутствовала – Санжаль увернулась, а огонь вспыхнул на ковре! Мы бы, наверное, все так и сгорели там живьем вместе с Башиной, если бы Иванов не сорвал со стены другой ковер и не швырнул его на пламя! И вот уже нет Лидии, зато ее дочка²⁰ почти не скрывает, что у нее роман с отчимом... Как все перепуталось... И все равно интересно, красиво, необычно, никаких серых будней, когда знаешь, что снова настанет среда и всегда можно к полуночи приехать на гостеприимную Башиню... Почему говорят «среды», когда собрания начинаются после двенадцати ночи? Правильней бы «четверги»... Я осторожно повернула голову в сторону Г. Понравится ли ему там? Не сочтет ли он милые проказы моих друзей эпатирующими эскападами? А вдруг это повредит высокому мнению, которое у него обо мне сложилось? Ведь он – доктор, ему совсем незнакомо общество художников и литераторов... Вдруг он решит, что и я, его избранница, способна, завязав юбки вокруг ног, встать на голову, как Ася? И, может быть, уже делала так, раньше, без него? А как Мейерхольд с Верховенским изображали слона! Спереди был Мейерхольд с хоботом, а Верховенский «изображал» зад... Вдруг для Г. это вообще неприлично – так вести себя взрослым людям, господам литераторам?.. Я заволновалась, пытаюсь заглянуть Г. в лицо. Но увидела, что мой любимый улыбается краешком губ... Это было такое счастье! Я едва не сказала ему, что пора, наконец, отбросить все условности, что мы любим, что нельзя упускать драгоценное время, растрачивать часы и часы на обязательные в приличном обществе «ухаживания»... Какой вздор! Сейчас обнять его, сбросить тяжелую шляпу, растрепать свои густые шелковистые волосы, упасть к нему на плечо и сказать... Сказать: «Милый, милый...».

Герман двумя ладонями схлопнул тетрадь. Несмотря на весь высокий трагизм ситуации, он испытал приступ острого гнева, только сейчас полностью осознав, что весь текст романа, к счастью, так и оставшегося в набросках, касается его самого и описывает – в дикой, извращенной, безумной форме! – все их с Надин отношения – если редкие встречи и разговоры, которые он всегда с разной степенью успешности пытался повернуть на Евстолию, вообще можно было назвать «отношениями», а не эпизодическим, весьма поверхностным общением. Да, он не возражал этой женщине на ее пустые, хотя и претендующие на оригинальность высказывания, – но лишь потому, что она, обидевшись, отказалась бы периодически видеться с ним и невольно выдавать крохи сведений о своей институтской подруге, его недостижимой возлюбленной. А эта мегера, оказывается... Оказывается, она все это время лелеяла о нем гнусные мечты, представляя его с собой в таких ситуациях, что догадайся он об этом – и мог бы ударить мерзавку по лицу... Он-то знал, о чем мечтают страдающие неразделенной любовью! И вот эта – жирная, бородавчатая, приторно-вонючая, с нечистой кожей, волосатыми пальцами и огромными, наверняка, тоже волосатыми ногами бабища – представляла себе по ночам, что он... с ней... Вот тут Герман почувствовал приступ приземленной, а не возвышенной душевной тошноты, как тогда, в «Квисисане»... А его она спросила?! Ведь мечта каким-то образом

¹⁸ Лидия Зиновьева-Аннибал, первая жена поэта Вячеслава Иванова; умерла от скарлатины в 1907 г.

¹⁹ «33 уroda»; СПб, 1907.

²⁰ Вера Шварсалон, дочь Л. Зиновьевой-Аннибал; после смерти матери вышла замуж за своего отчима В. Иванова в 1909 г.

затрагивает и того, о ком мечтают! Наука еще не знает – каким, но это факт! Он почувствовал себя оскорбленным просто тем, что эта зажавшаяся миллионерша, не знающая, каким еще порочным удовольствиям предаться, смела о нем мечтать – о нем, молодом красавце-докторе, образованном дворянине!

Но в этот момент Герман вспомнил, почему вообще эта тетрадь оказалась у него в руках и сразу присмирел, задумался... Так выходит, она его любила... Так же, как он любил Евстолию... Нет, Бог, конечно, есть... И дивны дела Его...

Как ни старался он окончить с медалью единственную мужскую гимназию в уездном городе Острове – подкосили на выпускном сочинении. «Литературные творения Екатерины Великой»... Гм... Да той минуты он вообще не знал, что она разродилась какими-то «творениями», – переэкзаменовки удалось избежать, выскочив на общей эрудированности и получив унижительное «посредственно», но с мечтой о медали пришлось распрощаться, как и с казенным коштом в Санкт-Петербургской медико-хирургической Академии, на который она давала бы право... В тот день он серьезно думал о том, что выкрадет у отца из кабинета охотничье ружье, зарядит крупной дробью, как на кабана, уйдет подальше в чащу и выстрелит себе в голову, встав на крутом берегу глубокого и опасного лесного озера, в котором не всплывают трупы: тамошние ужасные подводные течения, как известно, утаскивают утопленников через целую цепь более мелких озер в последнее, заболоченное, никого и ничего не выпускающее из цепких лап трясины... Горевать никто особо не будет: у родителей он был единственным поздним ребенком, мать не дожила до минувшей Пасхи, упорно соблюдая строгий Великий Пост, несмотря на прогрессирующую чахотку, а отец... Угрюмый и равнодушный человек, сломанный бедами запойный пьяница, промотавший свое и женино состояние и доживающий из милости управляющим в имении богатого и веселого друга бурной юности, может, и вовсе не огорчится, потеряв своего никчемного захребетника... Терзать от отчаянья седую бороду он, в любом случае не станет...

Набожность в гимназии была не в почете, поэтому страха перед вечным загробным наказанием юноша тоже не испытывал. Будущего он не видел: при мысли о том, что ждет его участь приказчика в мелкооптовой лавке или нищего телеграфиста на станции, холодело сердце: с очевидной способностью к учению, страстью к естественным наукам, горящим сердцем – прозябать в омерзительном деревянном городишке, с октября по апрель тонущем в какой-то особой, эсхатологической грязи, а с мая по сентябрь похожего на забытый домашний аквариум с мутной зеленью по стенкам и полудохлыми бледными рыбами, еле-еле шевелящими плавниками, – чем жить в таком городе нищим чиновником, медленно спиваясь, как отец, лучше уж покончить со всем разом.

Ружье он добыл тем же вечером, просто взяв его со стены над диваном, где храпел пьяный «папенька», унес к себе, со знанием дела разобрал, почистил и смазал, чтобы избежать досадной осечки, способной поколебать твердое решение, не спеша зарядил оба ствола и поставил спусковые крючки на предохранитель. Все было готово. Понимая, что спать в эту последнюю ночь не придется, юноша вышел в господский сад, где, будучи, в целом, чуждым любой романтике, хотел все-таки напоследок взглянуть на далекие холодные звезды в светлом летнем небе – и вдруг, повинувшись смутному полурелигиозному-полусуеверному порыву, загадал что не станет стреляться, если увидит, как упадет звезда. Но пора звездопадов еще не настала, и вероятность увидеть промчавшийся по небу метеорит была ничтожно мала – Герман это знал, поэтому загад его мог считаться вполне честным.

Выйдя на открытую полянку неподалеку от барской усадьбы, молодой человек задрал голову и принялся с удивившим его самого волнением пристально разглядывать слабо видимые на бледно-фиолетовом небе звезды, вполне отдавая себе отчет в собственной трусости: выходит, не очень-то и смел он перед лицом вольной смерти, раз так трепещет в ожидании знака

надежды! Он разозлился на свое малодушие: сколько можно смотреть?! Что за ерундистика?! Конец девятнадцатого века на дворе, естественная наука – та, в которой ему никогда не преуспеть! – идет семимильными шагами к полному познанию мира, а он поддался каким-то бабьим предрассудкам! Ведь очевидно же, что не будет никакого знака, да и некому его подавать оттуда! Именно в ту секунду, прямо в подставленное лицо Германа словно кинули горсть переливающихся алмазов. Юноша даже инстинктивно зажмурился и втянул голову, словно звезды действительно могли на него просыпаться, как небесное зерно! Словно Кто-то огромный и невидимый в непостижимой высоте доброй усмешкой отозвался на пустой мальчишечий бунт: «Ах, ты не веришь в Меня? Ну, получай!».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.